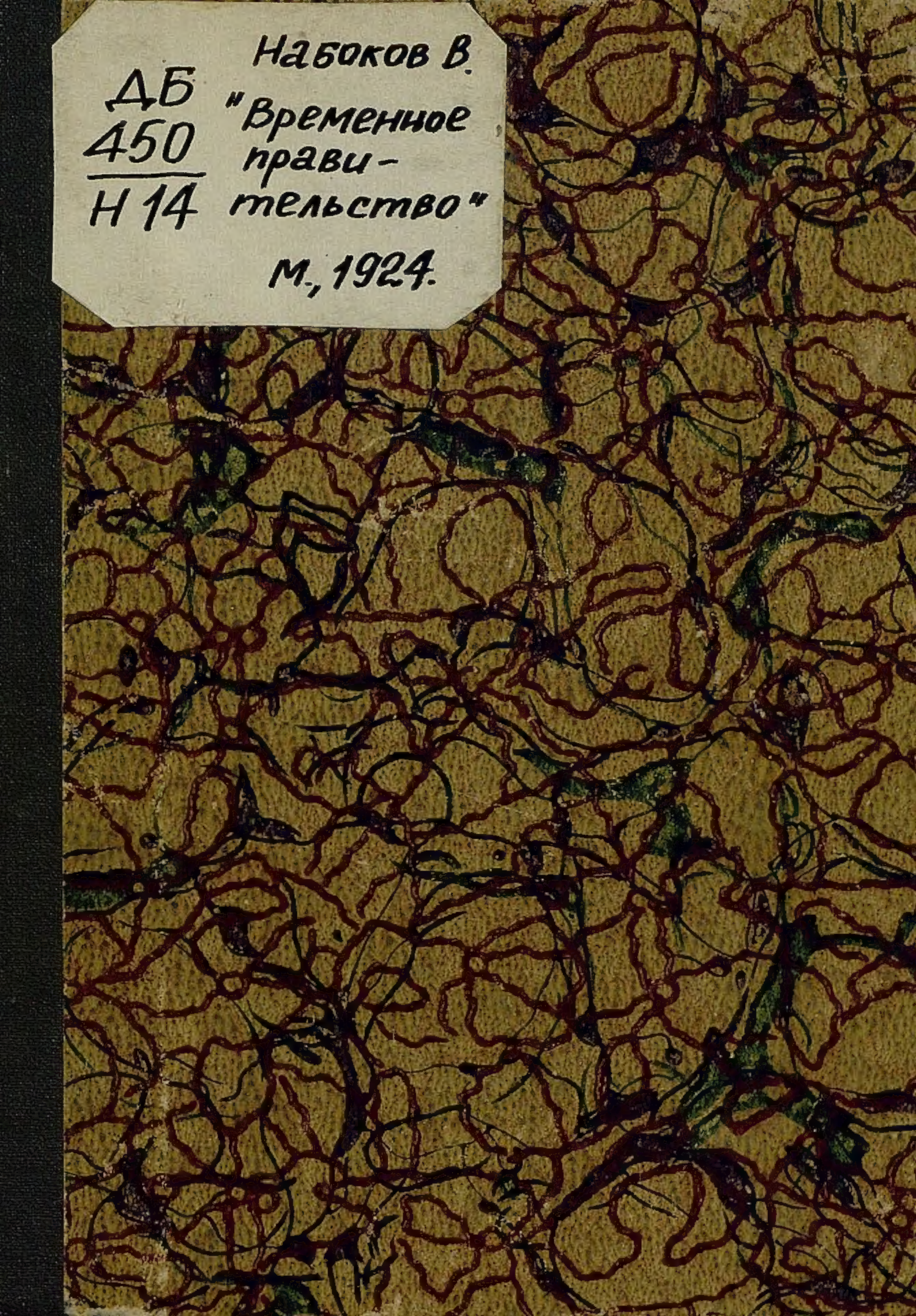


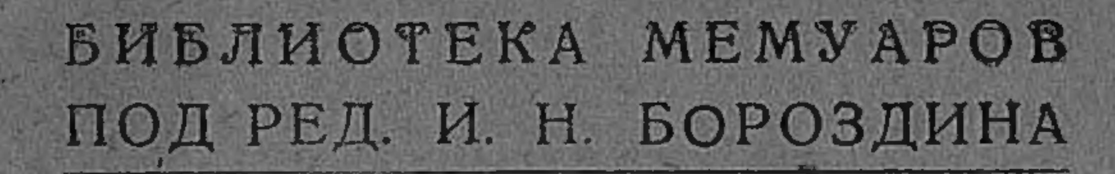
ДБ
450
Н 14
Набоков В.
"Временное прави-тельство"
М., 1924.

БИБЛИОТЕКА МЕМУАРОВ

В. Д. Набоков

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ИЗДАНИЕ Т-ва „МИР“ МОСКВА
1923

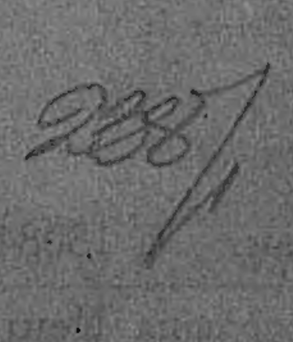

БИБЛИОТЕКА МЕМУАРОВ
ПОД РЕД. И. Н. БОРОЗДИНА

В. НАБОКОВ.

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

(ВОСПОМИНАНИЯ)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ И. Н. БОРОЗДИНА.



ИЗД. Т-ВА „МИР“
МОСКВА
1924 г.

Главлит № 13084. Тираж 2400.

Типография Центросоюза, Москва, Денисовский пер., д. 30.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ.

Революция 1917 года уже имеет свою литературу, пытающуюся в той или иной степени изобразить как ход самих событий, так и вскрыть их движущие силы. Конечно, далеко еще не все вопросы нашли себе вполне достаточное освещение, а многие еще и совсем не поставлены. Тем не менее то, что сделано за 6-летие, отделяющее нас от начала революции, уже значительно.

Само собой разумеется, что теперь, при наличии существующих источников, еще не время писать общую историю второй русской революции. В настоящее время изучение революции 1917 года неизбежно должно находиться в стадии собирания различных материалов и документов. И в ряду этих источников громадное значение имеют воспоминания непосредственных участников и ближайших очевидцев революционных событий. Опубликованные до сего времени монументальные записки Н. Н. Суханова, книга Шляпникова, фрагменты из воспоминаний Мстиславского и целый ряд других меньших по об'ему и размаху воспоминаний, дают чрезвычайно богатый материал для реконструкции памятных событий второй русской революции. Наряду с воспоминаниями лиц, приемлющих революцию и оставшихся ей верными, серьезный интерес представляют и записки из «того лагеря». Русская эмигрантская литература весьма богато представлена мемуарами. На свободе и вдали от всяких дел «бывшие люди» усиленно и много пишут. Правда, не всегда плодови-

тость служит к украшению этих писаний. Злоба и ненависть нередко настолько поглощают мемуаристов, что, кроме огульной ругани, пошлых анекдотов и сплетен, из их воспоминаний ничего не извлечешь.

Тем приятнее всегда отмечать отступления от этих эмигрантских правил в тех мемуарах, где фактическая сторона преобладает над эмоциональной. К числу интереснейших зарубежных мемуаров можно смело и без обиняков отнести воспоминания о временном правительстве В. Д. Набокова.

Автор, один из виднейших лидеров кадетской партии, бывший управляющим делами временного правительства в его первом составе, конечно, мог о многом порассказать существенное и интересное. Как всякий мемуарист, В. Д. Набоков суб'ективен,—дает себя знать и партийная страстность,—но все же он более места уделяет фактической стороне. Свою главную задачу—изобразить временное правительство, его персональный состав и работу, он выполняет, можно сказать, блестяще. Характеристика ответственных персонажей временного правительства сделана с большим литературным мастерством.

Ни один самый ярый противник временного правительства не мог дать более убийственной характеристики этого бездарного и бесцветного порождения февральско-мартовских дней. Полная неустойчивость, расхлябанность, поразительная неделовитость, абсолютное непонимание того, что происходит, и того, что следует делать—все это выпукло и рельефно очерчено пером Набокова. Сам автор, щеголяющий своим юридическим формализмом, подавлен той хаотической картиной, какую представляют, например, заседания временного правительства, где вершители судеб российского государства мечутся из стороны в сторону «без руля и без ветрил»

и в лучшем случае как некиим символом затушевываются очередной истерикой Керенского.

Некоторые из персональных характеристик членов временного правительства, данные Набоковым, чрезвычайно удачны и тонки. Можно только удивляться, как автор не скрывает своего разочарования при виде того, что ему представилось. Неужели же он—человек определенно неглупый—до такой степени глядел в кадетские розовые очки, что проглядел истинный лик князя Львова или Мануилова. Ведь с ними, как и с другими кадетскими лидерами, он должен был быть основательно знаком.

Кто, ближе стоящий к общественным верхам, не знал, что́ за дутая знаменитость князь Г. Е. Львов—бездарнейший и неумный человек, как-то внезапно выдвинутый и при жизни канонизированный? Во время войны этот прославленный организатор земских сил страны мало чем себя проявил, если не считать, что все воззвания по общеземской организации за его подписью писались одним московским профессором. Князь Львов был только почетный манекен и в качестве такового выдвигался в премьеры ответственного кабинета министров. Главой временного правительства он был сделан при ближайшем участии Милюкова, который ни за что не хотел пустить туда Родзянко. Как говорит Набоков, вождь кадетов позже об этом сожалел. Действительно, с точки зрения Милюкова, хуже вести себя, чем вел Львов, было нельзя. Маленький человечек, попавший на большое место, лишенный часто шпаргалок и обязанный выступать самостоятельно, всюду и везде делал глупости. Не лишено курьеза его сентиментальное и прекраснодушное отношение ко всем происходящим событиям и его увлечение «заложником демократии» Керенским.

Выражает недоумение Набоков по поводу неожиданного появления Терещенко в качестве министра и члена временного правительства. Блестящий молодой человек, богач, меломан и театрал из чиновников особых поручений при директоре императорских театров превращается в министра финансов, а затем сменяет самого Милюкова на посту министра иностранных дел. Некоторое время он член могущественного триумвирата (Керенский—Некрасов—Терещенко), особенно удачно разваливавшего страну. Почему он выскочил? Странно, что Набокову это неизвестно. А, между тем, так ясно, что российская крупная буржуазия хотела видеть своих ставленников на наиболее ответственных постах. Гучков, Коновалов, Терещенко имели руководящие портфели в первой комбинации; в последней комбинации (пред-октябрьская) к тем же Коновалову и Терещенко присоединился московский крупный купец Смирнов, а дальше лезли всякие Бурышкины и т. п. Все это—ставленники российского крупного капитала, именитой российской крупной буржуазии. Если чему и надо удивляться, так удивлению бывшего издателя и руководителя газеты «Речь»!

Очень удачна характеристика Шингарева, честного земского интеллигента губернского или уездного масштаба, но менее всего крупного государственного деятеля, и двух октябристских избранников—Годнева и Вл. Львова. Две последние фигуры—прямо юмористические, своего рода Добчинский и Бобчинский, особенно революционный обер-прокурор, так скандализованный во время Корниловской истории.

Характеристика Некрасова—«злого гения революции» дана краткая, но решительная. Набоков, однако, пожалуй, мягче в его оценке, чем Милюков в своей «История второй русской революции». Признавая недю-

жинные дарования Некрасова, Набоков не может простить ему подкоп под Милюкова и клеймит его, как двуличного и нечестного политического деятеля.

Огорчен Набоков и Мануиловым, проявившим свою полную несостоятельность на посту министра народного просвещения. Напрасно только он винит во всем демагогов и Чарнолусского. Кто не знал, что почтенный профессор политической экономии, возведенный в «кадетские святые» за борьбу с Кассо, менее всего способен был быть министром, да еще вдобавок и членом временного правительства революционного периода. Немудрено, что к сонму неудачливых руководителей отечественного просвещения присоединился еще один.

Остро-суб'ективные нотки звучат у Набокова, когда он переходит к характеристике двух крупнейших персонажей временного правительства—Керенского и Милюкова. В первом случае дает себя чувствовать личная взаимная антипатия, о которой автор впрочем не умалчивает. Но портрет «героя» русской революции вышел удачным. Остроумно и зло отмечает Набоков все специфические особенности этого «героя» февральской революции. Из отдельных черточек этого недавнего эсеровского героя любопытно указать на приводимый Набоковым факт наускиванья Керенским премьера Львова на Стеклова. Керенский сам терпеть не мог Стеклова, но выступить против представителя Исполнительного Комитета Совета Рабочих Депутатов не решался. И вот «заложник демократии» обращается за содействием к «буржуазному» премьеру. Картина недурная!

Дав в общем удачные и достаточно меткие характеристики перечисленных членов временного правительства, автор вдруг теряет всякое самообладание, когда доходит до своего кумира—П. Н. Милюкова. Теперь, когда автору воспоминаний в буквальном смысле слова

пришлось лечь костьми за своего партийного вождя, особенно приходится присматриваться к этой характеристике верховного шефа кадетов. Для В. Д. Набокова Милюков является крупнейшим государственным деятелем, головой выше стоящим всех окружающих. С каким то особенным чувством почтения и восхищения отмечает он его эрудицию, его ум, его логику. Для Набокова и его партийных единомышленников Милюков— столп врем. правительства, в нем все начинается и с ним все кончается. С величайшим негодованием описывает Набоков те события, которые вызваны были пресловутыми выступлениями Милюкова по вопросам войны и мира. Здесь, казалось бы, вопиющая бестактность русского министра иностранных дел, поставившего в чрезвычайно конфузное положение все временное правительство, должна была приводить к противоположным выводам. Набоков не мог не видеть, что у его героя не все ладно, и он выставляет целый ряд доказательств, мало впрочем убедительных, для об'яснений, если не для защиты милюковской позиции. Впрочем, и во многом другом Набокову, несогласному с Милюковым, приходится его об'яснять и обелять.

Так, по вопросу о воцарении Михаила Набоков несогласен с самого начала с Милюковым, который настаивал на провозглашении брата Николая II императором. Набоков вполне логично доказывает, что при тогдашней ситуации, это было уже невозможно. Михаил продержался бы недолго, а крови было бы пролито немало. Милюков, беседовавший с Набоковым на эти темы, как-то не вполне усваивал эту истину и позже.

Особенно много и подробно говорит Набоков об отношении Милюкова к войне и здесь старается оправдать его позицию. Набокова самого смущает это упорное, ни с чем не считающееся требование «война до победного

конца». И вот, он заходя в прошлое, старается об'яснить всю линию поведения Милюкова, который совершенно неожиданно оказывается единомышленником Ромен Роллана, а отнюдь не Мориса Барреса и деятелей «Action française». Не думает, чтобы Милюкову, быть может, и не хотящему сесть рядом с французскими националистами-громилами, очень улыбалось соединение с Р. Ролланом, приемлющим большевистскую точку зрения (в те времена Циммервальдскую). Как это вышло у Набокова, надо диву дивиться!

Любопытно, что, когда разыгралась апрельская трагедия временного правительства, всецело вызванная поведением Милюкова и односторонне освещенная Набоковым, сам автор мемуаров как-то не очень уверенно настаивал на необходимости оставления Милюкова в рядах правительства с другим портфелем. Правда, Набоков говорит всякие жалкие слова, но чувствуется между строк, что внутренней уверенности в правоте слов у него нет.

В общем, характеристика Милюкова, как члена временного правительства и министра иностранных дел, далеко не приводит к тем результатам, какие хотел бы видеть В. Д. Набоков. Вопреки всем его стараниям, Милюков в его описании выходит не реабилитированным и менее всего крупным государственным деятелем.

Портретная характеристика членов временного правительства является «гвоздем» мемуаров Набокова. Попутно характеризует он, правда очень кратко, и некоторых других деятелей революции. К членам Исполнительного Комитета Совета Рабочих и Солдатских Депутатов он относится с нескрываемой враждой и придирчивостью, зло и едко их жаля. Особенно несимпатичен ему Стеклов, сильно насоливший своими выступлениями в контактной комиссии. Сдержанный и пытающийся

быть корректным бывший камер-юнкер теряет всякое душевное равновесие, не останавливаясь перед самыми дешевыми способами полемики. Весьма примечательно то, что говорит Набоков о меньшевистском лидере Церетелли. Он передает беседу с ним, где Церетелли предсказывает, что большевики продержаться не более 2—3 недель, но многое разрушат.

Если записки В. Д. Набокова дают чрезвычайно богатый материал фактического и, так сказать, психологического характера, то все попытки его социологических анализов производят самое убогое впечатление.

Для Набокова революция только военный бунт. Им не учитывается совершенно ни размах революции, ни как никак ее достаточно длительная подготовка. Нельзя же человеку, стоящему в центре тогдашней общественности, проводить такую обывательскую точку зрения. Набокову не стыдно даже приводить пресловутую басню о немецких деньгах! Сам же он убедительно показывает рост общественного недовольства, так или иначе долженствовавший ликвидировать позорное правление последнего Романова... Хорошо всем известно (известно и Набокову-издателю «Речи»), что накануне войны уже обозначались грозные признаки новой революционной пролетарской волны. Во время пребывания французского президента, тайно договаривавшегося о возможном начале мировой бойни, петербургские рабочие своим выступлением показали, что первая революция не ликвидирована окончательно, и что за ней грядет вторая. Война, дав временную отсрочку, углубила и расширила революционные настроения. Вся правительственная политика только разжигала и ускоряла наступление революционного процесса. Конечно, самый размах разыгравшихся событий мог оказаться неожиданным, но неожиданным только на первых порах. Кто же

вообще может предугадать все детали революционных явлений! Но говорить уже через некоторое время после февральско-мартовского переворота о неожиданности и случайности наступившей революции—более чем неуместно. Здесь Набокову партийно неприятно за ту глупую роль, какую сыграли кадеты в период с февраля по октябрь. Ничего не остается другого, как счесть все солдатским бунтом. Не хорошо, правда, что кадеты выкинули республиканский флаг. Но ведь над ними и иронизирует за это умный г. Набоков.

Как будто доходит до понимания истины автор мемуаров, когда он говорит о военной коньюнктуре эпохи временного правительства. Набоков, вопреки Милюкову и «иже с ним», понял, что воевать больше нельзя, и никакого «победного» конца при полном развале фронта быть не может. Но, признавая все это, он не может поставить точку над и. Он довольно правильно говорит о той военно-азартной игре, которую кощунственно смешивали с яко бы народными интересами. Но он не договаривает, или вернее, социологически не углубляется в об'яснение основ этой азартной игры. Кто же ее ведет? Набоков не дает ответа. Бывший французский министр Кайо в своей нашумевшей книге: «Ou va la France, ou va l'Europe» великолепно вскрывает основы и механику всей той ужасающей азартной игры, которую ведут воротилы финансового капитала, сеньоры первого разряда нового банковско-трестовского феодализма.

Присущая вообще Набокову корректность изменяет ему не только при характеристике отдельных деятелей революции, но и при описании массовых сцен и событий. Как то особенно часто подчеркивает он «тупые» и «недобрые» лица солдат, обвиняя чуть не всю народную массу в развращенности за то, что она сама хотела творить свою волю. С особенным ударением говорит

об еврейских физиономиях. Вообще душок мало скрываемого антисемитизма дает определенно себя чувствовать. Можно ли было ожидать этого от издателя либеральнейшей «Речи» и ее специального корреспондента во время процесса Бейлиса? Tempora mutantur!...

Настоящее издание записок является перепечаткой заграничного текста с незначительными купюрами. Глава об октябрьском перевороте, не представляющая особого интереса по фактическому материалу, опущена.

И. Бороздин.

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.

I.

С первых дней переворота я стоял довольно близко к временному правительству; в течение первых двух месяцев (до первого кризиса) занимал должность управляющего делами временного правительства, а впоследствии находился с ним—по разным поводам и при разных обстоятельствах—в довольно тесном контакте. К сожалению, я не вел тогда ни дневника, ни каких-либо систематических записей. Занятый с утра и до поздней ночи, я еле находил время для того, чтобы выполнять всю выпавшую на мою долю работу. Поэтому, у меня не сохранилось почти никаких документальных данных, относящихся к тому времени. Я долго колебался, стоит ли теперь, по прошествии стольких месяцев, приниматься за перо и пытаться записать то, что уцелело в памяти. Трудность этой задачи увеличена теми условиями, в которых я теперь нахожусь,—проживая в «медвежьем углу» Крыма, уже целый месяц совершенно отрезанного от всей остальной России и только что занятого немцами. У меня под рукой нет ничего для облегчения работы памяти, если не считать кипы номеров «Речи», по счастью сохранившихся у И. И. Петрункевича и им мне предоставленных. Правда, это очень драгоценное пособие, но оно не могло, конечно, отражать хода той

внутренней закулисной политической жизни, которая, как это всегда бывает, направляла и всецело определяла ход жизни внешней. В течение тех двух месяцев, что я находился на посту управляющего делами временного правительства, я чуть не ежедневно присутствовал при закрытых его заседаниях, где я был единственным лицом, не принадлежащим официально к составу правительства. Впоследствии я подробнее коснусь вопроса о моем положении и о тех причинах, которые побудили меня мириться в течение моей кратковременной работы с этим положением только свидетеля, но не участника политического «творчества» временного правительства. Сейчас я хочу только констатировать, что, насколько мне известно, от всех этих совещаний не осталось никакого следа. Записывать прения в самом заседании я не мог, в виду их строго конфиденциального характера. Это, конечно, вызвало бы протест прежде всего со стороны Керенского, всегда очень подозрительно и ревниво относившегося ко всему, в чем он мог усматривать покушение на «верховные прерогативы» временного правительства. Писать же post factum у меня не было времени. Думаю, что ни один из министров не имел возможности делать какие-либо записи после заседания. Само собой разумеется, что теперь, год спустя, я не имею ни малейшей возможности систематически восстановить то, что происходило на этих совещаниях.

И тем не менее, я все-таки решил приступить к этим запискам. Как ни скуден тот материал, которым располагает моя память, все же было бы, думается мне, жаль, если бы этот материал погиб бесследно. Я считал бы крайне важным, чтобы все те, кто так или иначе оказались причастными работе временного правительства, поступили бы также. Будущий историк собе-

рет и оценит все эти свидетельства. Они могут оказаться очень разноценными, но ни одно из них не будет лишенным цены, если пишущий задастся двумя абсолютными требованиями: не допускать никакой сознательной неправды (от ошибок никто не гарантирован) и быть вполне и до конца искренним.

Вступление это мне казалось необходимым, так как оно пояснит самый характер моих воспоминаний и мое собственное отношение к этим запискам. Приступаю к моему повествованию.

II.

Как только вспыхнула война, я немедленно—21 июля 1914 года—получил бумажку, уведомлявшую меня, что я, в качестве офицера ополчения, призываюсь в 318-ю пешую Новгородскую дружину и обязан явиться в место формирования этой дружины, в г. Старую Руссу. Не собираюсь сейчас подробно касаться всего, пережитого мной, сперва в Старой Руссе, потом в Выборге, где дружина находилась до мая 1915 г., затем в местечке Гайнаше, на берегу Рижского залива, на полпути между Перновом и Ригой. Я был сперва дружинным ад'ютантом, потом в Гайнаше, где из трех дружин был образован полк (под названием 434-го пех. Тихвинского),—полковым ад'ютантом, и в этот первый год войны был свидетелем работы по подготовлению тыла, протекавшей, вероятно, более или менее одинаково по всей России. Думаю, что мои наблюдения в этой области также не будут лишены некоторого интереса, но покамест откладываю записывание этого материала, а также и всего того, что относится к моей службе в Азиатской части главного штаба, куда я был совершенно для себя неожиданно и без всякого своего

участия переведен из Гайнаша в сентябре 1915 года и где оставался до самого переворота, заставшего меня временно исполняющим обязанности делопроизводителя этого учреждения. Если я здесь упоминаю о своей военной службе, то только для того, чтобы пояснить, что с июля 1914 года и до марта 1917 года я не принимал никакого участия в политике. Даже вернувшись в Петербург, я не возобновил ни публицистической работы в газете «Речь» *), ни работы в центральном комитете партии народной свободы. Открыто вернуться к той и другой я—в силу своего положения офицера, служащего в главном штабе—не мог, сделать же это, так сказать, конспиративно у меня не было никакой охоты, да и не было бы в таком тайном участии большого смысла. Как бы то ни было, мне важно для пояснения многого дальнейшего констатировать это обстоятельство. С начала войны и до самой революции я был оторван от политической и—в частности—от партийной жизни и следил за нею только извне, как сторонний наблюдатель. Мне были неизвестны сложные отношения, развившиеся в эти годы внутри Думы и в недрах нашего Ц. К. Я совершенно не знал Керенского,—мое знакомство с ним было чисто внешнее, мы кланялись при встрече и обменивались банальными фразами,—о политической его физиономии я мог судить только по его речам в Думе, о которых я никогда не был высокого мнения. Конечно, в силу моей близости к редакции «Речи», личных отношений с Милюковым, Гессеном, Шингаревым, Родичевым и другими, я не мог, да и не хотел, вполне терять связь—вернее, контакт—с партией и политикой; и не

---

*) Если не считать ряда фельетонов, явившихся плодом моей поездки в Англию в феврале 1916 года и впоследствии напечатанных отдельной книгой под заглавием „Из воюющей Англии“.

потерял ее. Но все же внешняя моя отчужденность была причиной того, что после переворота, на первых порах моей возобновившейся политической деятельности, я не сразу мог разобраться в той сложной сети и личных, и партийных отношений, которая опутала—отчасти сковала—работу временного правительства. Я многого не знал и многого, поэтому, не понимал. Это отразилось и на собственной моей роли, как будет видно далее.

Перехожу к внешним фактам, в их хронологической последовательности.

23 февраля жена моя должна была вернуться из Раухи, в Финляндии, куда она уехала с сыном еще в середине января и где оставалась несколько дней после возвращения сына, поправляясь от бронхита. Я ездил на вокзал ее встречать и живо помню, как на пути домой, я рассказывал ей и полковнику Мятлеву (которого мы в своем автомобиле довезли до его дома на Исаакиевской площади), что в Петербурге очень неспокойно, рабочее движение, забастовки, большие толпы на улицах, что власть проявляет нервность и как бы растерянность, и, кажется, не может особенно рассчитывать на войска—в частности, на казаков *). В пятницу, 24-го, и в субботу 25-го, я ходил, как всегда, на службу. 26-го, в воскресенье, Невский получил вид военного лагеря—он был оцеплен. Вечером я был у И. В. Гессена, у которого по воскресеньям обычно собирались друзья и знакомые. На этот раз я, помнится, застал у него только Губера (Арбузьева), который вскоре ушел. Мы обменялись впечатлениями. Происходившее нам казалось довольно грозным. То обстоятельство, что

*) Не так давно, в апреле 1918 года, Мятлев, находящийся в Ялте, при встрече напомнил мне об этой поездке и о моем рассказе.

власть—высшая—находилась в такую критическую минуту в руках таких людей, как кн. Голицын, Протопопов и ген. Хабалов, не могло не внушать самой серьезной тревоги. Тем не менее, еще 26-го вечером мы были далеки от мысли, что ближайшие два-три дня принесут с собою такие колоссальные, решающие события всемирно-исторического значения.

Возвращаясь домой с Малой Конюшенной, я не мог взять обычный путь—прямо на Невский и Морскую, так как через Невский меня бы не пустили. Я прошел переулком на Большую Конюшенную, потом через Волынкин переулок на Мойку, через Певческий мост, Дворцовую площадь, совершенно пустынную, мрачную, огромную, мимо Невского, по Адмиралтейскому проспекту. Проходя мимо градоначальства, я не мог не обратить внимания на большое количество автомобилей (10—12), стоящих перед под'ездом. Вернулся я в начале первого, встревоженный и с мрачными предчувствиями.

Утром в понедельник, 27-го, я, как всегда, в десять часов утра отправился на службу. Азиатская часть главного штаба помещалась тогда в здании бывшего главного управления казачьих войск, на Караванной против Симеоновского моста. Проходя по Караванной и поровнявшись со сквером, я был остановлен каким-то господином со знакомым лицом (кто он такой—я ни тогда, ни потом вспомнить не мог), который мне сказал, что на Кирочной—стрельба, что часть солдат взбунтовалась. Он упомянул, помнится, о Преображенском полке. Придя затем в помещение Азиатской части, я никаких новых сведений не получил. Началась обычная работа, шедшая в этот день как-то вяло. Тем не менее мы (мои сослуживцы и я) досидели обычное время—до трех часов, и в три часа я пошел домой, по Невско-

му, по которому в это время уже был свободный проход и толпились массы народу.

К вечеру Морская—насколько можно было видеть из окон, в особенности, из боковых окон тамбура, выходящего на улицу и дающего возможность обозревать ее до «Астории», с одной стороны, и до Конногвардейского переулка, с другой, совершенно вымерла. Начали проноситься броневики, послышались выстрелы из винтовок и пулеметов, пробегали, прижимаясь к стенам, отдельные солдаты и матросы. Временами отдельные выстрелы переходили в оживленную перестрелку. Временами, но всегда на короткое время,—все затихало. Телефон продолжал работать и сведения о происходившем в течение дня передавались мне, помнится, моими друзьями. В обычное время мы легли спать. С утра 28 февраля возобновилась сильнейшая пальба на площади, а также в той части Морской, которая идет от лютеранской кирки к Поцелуеву мосту. Выходить было опасно—отчасти из-за стрельбы, отчасти потому, что с офицеров начали срывать погоны, и уже ходили слухи о насилиях над ними со стороны солдат. Часов в 11 утра (может быть, даже раньше) под окнами нашего дома прошла большая толпа солдат и матросов, направляясь к Невскому. Шли беспорядочно и нестройно, офицеров не было. В эту толпу, повидимому, стреляли—не то из «Астории», не то из Министерства Земледелия: точно это никогда не было установлено, да и самый факт стрельбы также не установлен,—возможно, что это было позднее выдумано. Как бы то ни было, под влиянием ли выстрелов (если они были), или по каким-либо другим побуждениям, эта толпа начала громить «Асторию». Оттуда начали к нам являться «беженцы»: сестра моя с мужем—адмиралом Коломейцевым, потом семья целая, с маленькими детьми, приведенная знакомыми англий-

скими офицерами, потом еще другая семья наших отдаленных родственников Набоковых. Все это кое-как разместилось у нас в доме.

Весь вторник, 28-го, а также среду, 1-го марта, я не выходил из дому. Было много хлопот по устройству неожиданных и невольных гостей, но большая часть дня проходила в каком-то тупом и тревожном ожидании. Точных сведений было мало. Известно было только, что центральным пунктом является Государственная дума, а к вечеру 1-го марта уже говорили, что весь Петербургский гарнизон, а также некоторые прибывшие из окрестностей части присоединились к восставшим.

Утром 2-го марта уже офицеры могли свободно появляться на улицах, и я решил отправиться в Азиатскую часть выяснить положение. Придя туда, я застал на первой большой площадке огромную толпу служащих, офицеров и писарей. Я быстро прошел в наше собственное помещение, но через некоторое время пришли мне сказать, что меня просят, чтобы сказать несколько слов по поводу происшедших событий. Я пошел к собравшимся, меня встретили аплодисментами. Мы все перешли в большую залу Я взобрался на стол и сказал краткую речь. Точно не помню своих слов,—смысл их заключался в том, что деспотизм и бесправие свергнуты, что победила свобда, что теперь долг всей страны ее укрепить, что для этого необходима неустанная работа и огромная дисциплина. На отдельные вопросы я отвечал, что я сам еще не в курсе происшедших событий, но что собираюсь днем в Государственную думу и там, все, конечно, узнаю в подробности, а завтра мы все можем вновь собраться. На этом мы и покончили, служащие разошлись, оживленно разговаривая. Я недолго пробыл в Азиатской части, где не было ни начальника ее, генерала Манакина, ни ближайшего его помощника, гене-

рала Давлетшина, и где, разумеется, в этот день ни о какой работе нельзя было думать. Вернувшись домой, я позавтракал, и в два часа снова вышел, с намерением пробраться в Государственную думу.

На углу Невского и Морской я как раз столкнулся со всем составом служащих главного штаба, которые шли в Государственную думу для того, чтобы заявить временному правительству, о сформировании которого только-что стало известно, свое подчинение ему. Я к ним присоединился, мы пошли по Невскому, Литейной, Сергиевской, Потемкинской, Шпалерной. На улицах была масса народу. Везде видны были взволнованные, возбужденные лица, уже висели красные флаги. В то время, как мы проходили мимо Аничкова дворца, какой-то старик, интеллигентного вида и прилично одетый, увидя меня (я шел с края), сошел с тротуара, подбежал ко мне, схватил меня за руку, и, потрясая ее, благодарил меня «за все то, что вы сделали», прибавляя с большой энергией и решительностью: «но только Романовых нам не оставляйте, нам их не нужно». На Потемкинской мы встретили довольно большую толпу городовых, которых вели под конвоем,—повидимму из манежа Кавалергардского полка, куда они были заключены при начале восстания.

В эти 40—50 минут, пока мы шли к Государственной думе, я пережил не повторившийся больше под'ем душевный. Мне казалось, что в самом деле произошло нечто великое и священное, что народ сбросил цепи, что рухнул деспотизм... Я не отдавал себе тогда отчета в том, что основой происшедшего был военный бунт, вспыхнувший стихийно вследствие условий, созданных тремя годами войны, и что в этой основе лежит семя будущей анархии и гибели... Если такие мысли и являлись, то я гнал их прочь.

Когда мы подошли к Шпалерной, она оказалась совершенно запруженной войсками, направлявшимися к Думе. Приходилось несколько раз останавливаться и довольно долго ждать. То и дело проползали моторы, с трудом прокладывая себе дорогу через толпу. Площадь перед зданием Думы была переполнена так, что яблоку негде было упасть; на аллее, ведущей к под'езду, происходила невероятная давка, раздавались крики; у входных ворот какие-то молодые люди еврейского типа опрашивали проходивших; по временам слышались раскаты «ура». Одну минуту я уже отчаялся дойти до под'езда Думы и потерял связь с моими товарищами. Наконец, протискиваясь и проталкиваясь, я добрался до ступеней под'езда. В это время на возвышение, устроенное перед дверью,—а может быть—на открытый автомобиль (мне с моего места не было хорошо видно) взобрался В. Н. Львов и сказал приветственную коротенькую речь по адресу тех воинских частей, которые находились на площади. Его плохо было слышно, и речь его не производила никакого впечатления. Когда он кончил и спустился к дверям Думы, туда хлынула толпа, давка стала еще сильнее. Не помню уже, как я оказался в вестибюле. Внутренность Таврического дворца сразу поражала своим необычным видом. Солдаты, солдаты, солдаты, с усталыми, тупыми, редко с добрыми или радостными лицами; всюду следы импровизированного лагеря, сор, солома; воздух густой, стоит какой-то сплошной туман, пахнет солдатскими сапогами, сукном, потом; откуда-то слышатся истерические голоса ораторов, митингующих в Екатерининском зале,—везде давка и суетливая растерянность. Уже ходили по рукам листки со списком членов временного правительства. Помню, как я был изумлен, узнав, что министром юстиции назначен Керенский. (Я не понимал тогда значения это-

го факта и ожидал, что на этот пост будет назначен Маклаков). Такой же неожиданностью было назначение М. И. Терещенка. Встретившийся мне знакомый журналист, по моей просьбе, взялся показать мне дорогу к комнатам, где находились Милюков, Шингарев и другие мои друзья. Мы пошли какими-то коридорами, комнатушками, везде встречая множество знакомых лиц,—по дороге попался нам кн. Г. Е. Львов. Меня поразил его мрачный, унылый вид и усталое выражение глаз. В самой задней комнате я нашел Милюкова, он сидел за какими-то бумагами, с пером в руках; как оказалось, он выправлял ткст речи, произнесенной им только-что,—той речи, в которой он высказывался за сохранение монархии (предполагая, что Николай II отречется или будет свергнут). Около него сидела Анна Сергеевна (его жена). Милюков совсем не мог говорить, он потерял голос, сорвав его, повидимому, ночью, на солдатских митингах. Такими же беззвучными охрипшими голосами говорили Шингарев и Некрасов. В комнатах была разнообразная публика. Почему-то находился тут кн. С. К. Белосельский (генерал), ожидавший, по его словам, Гучкова,—очень растерянный. Через некоторое время откуда-то появился Керенский,—сопровождаемый графом Алексеем Орловым-Давыдовым (героем процесса с Пуаре), взвинченный, взволнованный, истеричный. Кажется, он пришел прямо из заседания Исполнительного Комитета Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, где он заявил о принятии им портфеля министра юстиции—и получил санкцию в форме переизбрания в товарищи председателя комитета. Насколько Милюков казался спокойным и сохраняющим полное самообладание, настолько Керенский поражал какой-то потерей душевного равновесия. Помню один его странный жест. Одет он был, как всегда (т.-е. до того, как принял на себя роль «за-

ложника демократии» во временном правительстве): на нем был пиджак, а воротничек рубашки—крахмальный, с загнутыми углами. Он взялся за эти углы и отодрал их, так что получился, вместо франтовского, какой-то нарочито-пролетарский вид... При мне он едва не падал в обморок, причем Орлов-Давыдов не то давал ему что-то нюхать, не то поил чем-то, не помню.

В соседней комнате происходило какое-то военное совещание. Я издали увидел генералов Михневича и Аверьянова.

Кажется, в то время уже говорили о том, что Гучков и Шульгин уехали в Псков,—и говорили как-то неодобрительно-скептически...

Делать в Думе мне было нечего. Вести сколько-нибудь систематический разговор с людьми, смертельно усталыми—было невозможно. Пробыв некоторое время, вобрав в себя атмосферу—лихорадочную, сумасшедшую какую-то—я направился к выходу. По дороге, в одной из маленьких комнат, я встретил П. Б. Струве, который находился в Думе, если не ошибаюсь, чуть ли не со вторника. Настроение его было крайне скептическое. Мы с ним недолго поговорили на тему о необычайной сложности и трудности создавшегося положения. Потом я направился домой.

На другой день, 3 марта, я утром, в обычное время, пошел в Азиатскую часть. На углу Морской и Вознесенского я встретил М. А. Стаховича, который сообщил мне, как о совершившемся факте, об отречении Николая II (за себя и за сына) и о передаче им престола Михаилу Александровичу. Это же самое подтвердил мне М. П. Кауфман (бывший министр народного просвещения), которого я встретил недалеко от Караванной. Придя на службу, я застал опять крайнее оживление, толпу народа на лестнице и в большом зале заседаний, и снова

ко мне обратились с просьбой сделать какие-нибудь разъяснения по поводу создавшегося положения. Я согласился. В зале собрались все служащие, пришел и почтенный ген. Агапов, начальник казачьего отдела главного штаба. В своей речи я поделился теми сведениями, которые у меня были (правда, крайне скудными),—сказал, что факт отречения царя должен разрешить вопрос и для всех тех, кто стоит на почве верноподданической лояльности quand-même, и затем, останавливаясь на предстоящей задаче, развивал вчерашние свои мысли о необходимости положить все свои силы на работу и на поддержку безусловной дисциплины. Вслед за мной говорили и другие, в том числе ген. Агапов. Настроение было очень твердое и хорошее, никаких диссонансов не было заметно. Помню даже, что Агапов поднял некоторые ближайшие практические вопросы, требующие, как он указал, немедленного решения для того, чтобы не останавливать налаженной работы и не вносить расстройства в нормальный ход дел.

Пробыв недолго со своими сослуживцами, я решил отправиться к начальнику Азиатской части, ген. Манакину, не выходившему из дому по нездоровью (кажется, он по телефону просил меня зайти к нему). Была чудная, солнечная, морозная погода. Не успел я притти к ген. Манакину и поговорить с ним, как к нему позвонили из моего дома, и жена сказала мне, что меня просят немедленно, от имени князя Львова, на Миллионную, 12, где находится—в квартире кн. Путятина—великий кн. Михаил Александрович. Я тотчас распростился с ген. Манакиным и поспешил по указанному адресу, разумеется, пешком, так как ни извозчиков, ни трамвая не было. Невский представлял необычайную картину: ни одного экипажа, ни одного автомобиля, отсутствие полиции и толпы народа, занимающие всю ширину ули-

цы. Перед в'ездом в Аничков дворец жгли орлы, снятые с вывесок придворных поставщиков.

Я пришел на Миллионную, должно быть, уже в третьем часу. На лестнице дома № 12 стоял караул Преображенского полка. Ко мне вышел офицер, я себя назвал, он ушл за инструкциями и, тотчас же вернувшись, пригласил меня наверх.

Раздевшись в прихожей, я вошел сперва в большую гостиную (в ней, как я узнал, в это утро происходило то совещание Михаила Александровича с членами временного правительства и вр. комитета Государственной думы, которое закончилось решением великого князя отказаться от навязанного ему «наследия»). В следующей комнате—повидимому, будуаре хозяйки—сидел кн. Львов и Шульгин. Князь Львов об'яснил мне мотив моего приглашения. Он рассказал мне, что в самом временном правительстве мнения по вопросу о том, принимать ли Михаилу Александровичу престол, или нет,—разделились. Милюков и Гучков были решительно и категорически за, и делали из этого вопроса punctum saliens, от которого должно было зависеть участие их в кабинете. Другие были, напротив, на стороне отрицательного решения. Великий князь выслушал всех и попросил дать ему подумать в одиночестве (я предполагаю, что он посоветовался со своим секретарем Матвеевым, которому он очень доверял, и что тот был сторонником отказа). Через некоторое время он вернулся в комнату, где происходило совещание, и заявил, что при настоящих условиях он далеко не уверен в том, что принятие им престола будет на благо родине, что оно может послужить не к об'единению, а к раз'единению, что он не хочет быть невольной причиной возможного кровопролития и потому не считает

возможным принять престол, и предоставляет решение (окончательное) вопроса учредительному собранию.

Тут же кн. Львов прибавил, что в результате этого решения, Милюков и Гучков выходят из состава временного правительства. «Что Гучков уходит, это не беда: ведь оказывается (sic), что его в армии терпеть не могут, солдаты его просто ненавидят. А вот Милюкова непременно надо уговорить остаться. Это уж дело ваше и ваших друзей, помочь нам». На мой вопрос, зачем меня просили притти, кн. Львов сказал, что нужно составить акт отречения Михаила Александровича. Проект такого акта набросан Некрасовым, но он не закончен и не вполне удачен,—а так как все страшно устали и больше не в состоянии думать, не спав всю ночь, то меня и просят заняться этой работой. Тут же он передал мне черновик Некрасова, сохранившийся до настоящего времени в моих бумагах, вместе с окончательно установленным текстом.

Здесь я хотел бы открыть скобку, прервать на минуту нить моего рассказа и коснуться вопроса об отречении Михаила Александровича по существу.

Много раз впоследствии я возвращался мысленно к этому моменту, и теперь вот, в конце апреля 1918 года, когда я пишу эти строки, в Крыму, завоеванном немцами («временно занятом», как они говорят), пережив все горькие разочарования, все ужасы, все унижение этого кошмарного года революции, убедившись в глубокой несостоятельности тех сил, на долю которых выпала задача создания новой России, я спрашиваю себя: не было ли больше шансов на благополучный исход, если бы Михаил Александрович принял тогда корону из рук царя.

Надо сказать, что из всех возможных «монархических» решений это было самым неудачным. Прежде все-

го, в нем был неустранимый внутрений порок. Наши основные законы не предусматривали возможности отречения царствующего императора и не устанавливали никаких правил, касающихся престолонаследия в этом случае. Но, разумеется, никакие законы не могут устранить или лишить значения самый факт отречения, или помешать ему. Это есть именно факт, с которым должны быть связаны известные юридические последствия...И так как, при таком молчании основных законов, отречение имеет то же самое значение, как смерть, то очевидно, что и последствия его должны быть те же, т.-е.—престол переходит к законному наследнику. Отрекаться можно только за самого себя. Лишать престола то лицо, которое по закону имеет на него право,—будь то лицо совершеннолетний или несовершеннолетний,—отрекающийся император не имеет права. Престол российский—не частная собственность, не вотчина императора, которой он может распоряжаться по своему произволу. Основываться на предполагаемом согласии наследника также нет возможности, раз этому наследнику не было еще полных 13-ти лет. Во всяком случае, даже если бы это согласие было категорически выражено, оно подлежало бы оспариванию, здесь же его и в помине не было. Поэтому, передача престола Михаилу была актом незаконным. Никакого юридического титула для Михаила она не создавала. Единственный законный исход заключался бы в том, чтобы последовать тому же порядку, какой имел бы место, если бы умер Николай II. Наследник сделался бы императором, а Михаил—регентом. Если бы решение, принятое Николаем II, не оказалось для Гучкова и Шульгина такой неожиданностью, они, быть может, обратили бы внимание Николая на недопустимость такого решения, предлагающего Михаилу

принять корону, на которую он—при живом законном наследнике престола—не имел права.

Я касаюсь этой стороны вопроса потому, что она не является только юридической тонкостью. Несомненно, она значительно ослабляла позицию сторонников сохранения монархии. И, несомненно, она влияла и на психику Михаила. Я не знаю, обсуждался ли вопрос с этой точки зрения в утреннем совещании, но, несомненно, что Николай II сам (едва ли сознательно) сделал наибольшее для того, чтобы затруднить и запутать создавшееся положение. Правда, им—по словам акта об отречении—руководили чувства нежного отца, не желающего расстаться с сыном. Как ни почтенны эти чувства, не в них, конечно, может он найти себе оправдание.

Принятие Михаилом престола было бы, таким образом, как выражаются юристы, ab initio vitiosum, с самого начала порочным. Но допустим, что—эта, так сказать, формальная—сторона дела была бы оставлена без внимания. Как обстояло положение по существу.

Рассуждая a priori, можно привести очень сильные доводы в пользу благоприятных последствий положительного решения.

Прежде всего, оно сохраняло преемственность аппарата власти и его устройства. Сохранена была бы основа государственного устройства России, и имелись бы налицо все данные для того, чтобы обеспечить монархии характер конституционный. Этому способствовали бы и те условия, при которых воцарился бы Михаил, и его личные черты:—прямота и несомненное благородство характера, лишенного при том властолюбия и деспотических замашек. Устранен был бы роковой вопрос о созыве учредительного собрания во время войны. Могло бы быть создано не временное правительство, формально облеченное диктаторской властью, и фактически выну-

жденное завоевать и укреплять эту власть, а настоящее конституционное правительство, на твердых основах закона, в рамки которого вставлено бы было новое содержание. Избегнуто бы было то великое потрясение всенародной психики, которое вызвано было крушением престола. Словом сказать, переворот был бы введен в известные границы—и, может быть, была бы сохранена международная позиция России. Были шансы сохранения армии.

Но все это, к сожалению, только одна сторона дела. Для того, чтобы она была решающей, необходим был ряд условий, которых налицо не было. Приняв престол из рук Николая, Михаил сразу имел бы против себя те силы, которые в первые же дни революции выступили на первый план и захотели овладеть положением, войдя в ближайший контакт с войсками Петербургского гарнизона. Эти восставшие войска к тому времени (3 марта) уже были отравлены. Реальной опоры они не представляли. Несомненно, что для укрепления Михаила потребовались бы очень решительные действия, не останавливающиеся перед кровопролитием, перед арестом Исполнительного Комитета Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, перед провозглашением, в случае попыток сопротивления, осадного положения. Через неделю, вероятно, все вошло бы в надлежащие рамки. Но для этой недели надо было располагать реальными силами, на которые можно бы было безоглядно рассчитывать и безусловно опереться, Таких сил не было. И сам по себе Михаил был человеком, мало или и совсем не подходившим к той трудной, ответственной и опасной роли, которую ему предстояло сыграть. Он не обладал ни популярностью в глазах масс, ни репутацией умственно выдающегося человека. Правда, его имя было незапятнано, он остался непричастным всем темным пе-

рипетиям скандальной хроники распутинской,—он даже некоторое время был как бы в оппозиции,—но всего этого, конечно, было недостаточно для того, чтобы твердой и уверенной рукой взяться за руль государственного корабля. Я не вижу тех элементов, которые его бы поддержали,—не во имя своих личных интересов, а во имя интересов высших. Кадеты, три недели спустя, выкинувшие республиканский флаг (об этом я подробнее скажу в своем месте), такой опорой не могли быть. Бюрократия, дворянство, придворные сферы? Все это было совсем не организовано, совершенно растерялось и боевой силы не представляло. Наконец, приходится считаться с тем общим настроением, которое преобладало в эти дни в Петербурге: это было *опьянение переворотом,* был бессознательный большевизм, вскруживший наиболее трезвые умы. В этой атмосфере монархическая традиция—лишенная, к тому же, глубоких элементов внутренней жизни—не могла быть действенной, об'единяющейся и собирающей силой...

Таким образом, я так формулирую тот окончательный вывод, к которому я уже давно пришел. Если бы принятие Михаилом престола было возможно, оно оказалось бы благодетельным или, по крайней мере, дающим надежду на благополучный исход. Но, к несчастью, вся совокупность условий была такова, что принятие престола было невозможно. Говоря тривиальным языком, из него бы «ничего не вышло». И прежде всего, это должен был чувствовать сам Михаил. Если «мы все глядим в Наполеоны», то он—меньше всех. Любопытно отметить, что он очень подчеркивал свою обиду по поводу того, что брат его «навязал» ему престол, даже не спросив его согласия. И было бы еще интереснее знать, как бы он поступил, если бы об этом согласии его заранее спросил Николай...

Возвращаюсь к прерванному рассказу.

Само собой разумеется, при данных обстоятельствах мне не приходилось заниматься размышлениями на тему о том, правильно ли, или неправильно принятое решение. Одно для меня было ясно: необходимо было удержать Милюкова в составе временного правительства, во что бы то ни стало, а затем надо было, в отношении того ближайшего дела, для которого меня призвали, найти вполне ясную, определительную и точную формулировку отречения великого князя. В первом отношении я обещал кн. Львову употребить все усилия и все влияние, которое я мог иметь на Милюкова, причем я имел в виду встретиться с ним вечером в Таврическом дворце. Что касается акта отречения, то я тотчас же остановился на мысли попросить содействия такого тонкого и осторожного специалиста по государственному праву, как бар. Б. Э. Нольде. С согласия кн. Львова, я позвонил к нему, он оказался по близости, в министерстве иностранных дел, и пришел через четверть часа. Нас поместили в комнате дочери кн. Путятина. К нам же присоединился В. В. Шульгин. Текст отречения и был составлен нами втроем, с сильным видоизменением некрасовского черновика. Чтобы покончить с внешней историей составления, скажу, что после окончания нашей работы, составленный текст был мною переписан и через Матвеева представлен великому князю. Изменения, им предложенные (и принятые), заключались в том, что было сделано (первоначально отсутствовавшее) указание на бога и в обращении к населению словом «прошу» было заменено проектированное слово «повелеваю». Вследствие таких изменений, мне пришлось еще раз переписать исторический документ. В это время было около шести часов вечера. Приехал М. В. Родзянко. Вошел и великий князь, который

при нас подписал документ. Он держался несколько смущенно—как-то сконфуженно. Я не сомневаюсь, что ему было очень тяжело, но самообладание он сохранял полное, и я, признаться, не думал, чтоб он вполне отдавал себе отчет в важности и значении совершаемого акта. Перед тем, как разойтись, он и М. В. Родзянко обнялись и поцеловались, при чем Родзянко назвал его благороднейшим человеком.

Для того, чтобы найти правильную форму для акта об отречении, надо было предварительно решить ряд преюдициальных вопросов. Из них первым являлся вопрос, связанный с внешней формой акта. Надо ли было считать, что, в момент его подписания, Михаил Александрович был уже императором, и что акт является таким же актом отречения, как и документ, подписанный Николаем II. Но во-первых, в случае решения вопроса в положительном смысле, отречение Михаила могло вызвать такие же сомнения, относительно прав других членов императорской фамилии, какие, в сущности, вытекали и из отречения Николая II. С другой стороны, этим санкционировалось бы неверное предположение Николая II, будто он вправе был сделать Михаила императором. Таким образом, мы пришли к выводу, что создавшееся положение должно быть трактуемо так: Михаил отказывается от принятия верховной власти. К этому, собственно, должно было свестись юридически ценное содержание акта. Но по условиям момента казалось необходимым, не ограничиваясь его отрицательной стороной, воспользоваться этим актом для того, чтобы—в глазах той части населения, для которой он мог иметь серьезное нравственное значение,—торжественно подкрепить полноту власти временного правительства и преемственную связь его с Государственной думой. Это и было сделано в словах «Временному пра-

вительству, по почину Государственной думы возникшему и облеченному всей полнотой власти». Первая часть формулы дана Шульгиным, другая мною. Опять-таки, с юридической точки зрения можно возразить, что Михаил Александрович, не принимая верховной власти, не мог давать никаких обязательных и связывающих указаний насчет пределов и существа власти временного правительства. Но, повторяю, мы в данном случае не видели центра тяжести в юридической силе формулы, а только в ее нравственно-политическом значении. И нельзя не отметить, что акт об отказе от престола, подписанный Михаилом, был *единственным актом,* определившим об'ем власти временного правительства и вместе с тем разрешившим вопрос о формах его функционирования,—в частности (и главным образом), вопрос о дальнейшей деятельности законодательных учреждений. Как известно, в первой декларации временного правительства оно говорило о себе, как о «кабинете», и образование этого кабинета рассматривалось как «более прочное устройство исполнительной власти». Очевидно, при составлении этой декларации было еще неясно, какие очертания примет временный государственный строй. С момента акта отказа считалось установленным, что временному правительству принадлежит в полном об'еме и законодательная власть. Между тем еще накануне в составе временного правительства поднимался (по словам Б. Э. Нольде) вопрос об издании законов и принятии финансовых мер в порядке 87 ст. осн. зак.

Может показаться странным, что я так подробно останавливаюсь на содержании акта об отказе. Могут сказать, что акт этот не произвел большого впечатления на население, что он был скоро забыт, заслонен событиями. Может быть, это и так. Но все же несомненно, что с более общей исторической точки зрения акт

3 марта имел очень большое значение, что он является именно историческим актом, и что значение его, может быть, еще скажется в будущем. Для нас же в тот момент, в самые первые дни революции, когда еще было совершенно неизвестно, как будет реагировать вся Россия и иностранные державы-союзницы на переворот, на образование временного правительства, на все создавшееся новое положение, казалось бесконечно важным каждое слово. И мне кажется, что мы были правы.

Я уже упомянул о том, что работа наша затянулась до вечера. Когда мы вышли, было уже темно. Если память мне не изменяет, я не возвращался домой, а прямо поехал в Государственную думу, чтобы увидеться с Милюковым, показать ему захваченный мною черновик акта, принять меры к его оглашению в печати. Но прежде всего, конечно, я должен был выполнить данное мною кн. Г. Е. Львову обещание—употребить все усилия, чтобы убедить Милюкова, не выходить из состава временного правительства.

Для меня, конечно, не было никакого сомнения в том, что, если бы Милюков настоял на своем решении, результатом были бы самые серьезные—может быть, даже гибельные—осложнения. Не говоря уже о впечатлении разлада с первых же шагов, о последствиях для партии, которая была бы сразу сбита с толку,—о тяжелом положении остающихся министров-кадетов,—с уходом Милюкова временное правительство теряло свою крупнейшую умственную силу и *единственного* человека, который мог вести внешнюю политику и которого знала Европа. В сущности этот уход был бы настоящей катастрофой.

Придя в Таврический дворец, я тотчас нашел Милюкова. С ним в этот день на ту же тему уже говорил Винавер, также убеждавший его изменить свое решение.

Я прочитал ему текст отказа Михаила. Его этот текст удовлетворил и, кажется, послужил окончательным толчком, побудившим его остаться в составе временного правительства. Кто и когда повлиял в том же смысле на Гучкова, я не знаю.

С Милюковым по-прежнему была Анна Сергеевна. От нее я услышал трагическое известие об убийствах в Гельсингфорсе и о грозном положении на фронте. Она сама казалась совершенно подавленной этими событиями. Меня они чрезвычайно потрясли. Сразу же в радостное ликование врывались мрачные, скорбные ноты, не предвещавшие ничего хорошего. Я должен тут же отметить, что сразу же было высказано убеждение, приписывающее эти убийства немецкой агитации.

В какой мере германская рука активно участвовала в нашей революции,—это вопрос, который никогда, надо думать, не получит полного, исчерпывающего ответа. По этому поводу я припоминаю один очень резкий эпизод, происшедший недели через две, в одном из закрытых заседаний временного правительства. Говорил Милюков, и, не помню, по какому поводу, заметил, что ни для кого не тайна, что германские деньги сыграли свою роль в числе факторов, содействовавших перевороту. Оговариваюсь, что я не помню точных его слов, но мысль была именно такова, и выражена она была достаточно категорично. Заседание происходило поздно ночью, в Мариинском дворце, Милюков сидел за столом, Керенский, по своему обыкновению, нетерпеливо и раздраженно ходил из одного конца залы в другой. В ту минуту, как Милюков произнес приведенные мною слова, Керенский находился в далеком углу комнаты. Он вдруг остановился и оттуда закричал: «Как? Что вы сказали? Повторите». И быстрыми шагами приблизился к своему месту у стола. Милюков спокойно и, так сказать, увеси-

сто повторил свою фразу. Керенский словно осатанел. Он схватил свой портфель и, хлопнув им по столу, завопил: «После того, как г. Милюков осмелился в моем присутствии оклеветать святое дело великой русской революции, я ни одной минуты здесь больше не желаю оставаться». С этими словами он повернулся и стрелой вылетел из залы. За ним побежал Терещенко и еще кто-то из министров, но, вернувшись, они сообщили, что его не удалось удержать и что он уехал домой (в министерство юстиции, где он тогда жил). Я помню, что Милюков сохранил полное хладнокровие и на мои слова ему: «Какая безобразная и нелепая выходка»!—отвечал: «да, это обычный стиль Керенского. Он и в думе часто проделывал такие штуки, вылавливая у политического противника какую-нибудь фразу, которую он потом переиначивал и пользовался ею, как оружием». По существу, никто из оставшихся министров не высказал ни одного слова по поводу фразы, вызвавшей негодование Керенского, но все находили, что его следует сейчас же успокоить и уговорить,—об'яснив ему, что в словах Милюкова не было общей оценки революции. Кто-то (кажется Терещенко) сказал, что к Керенскому следовало бы поехать князю Львову. Другие с этим согласились (Милюков держался пассивно,—конечно, весь этот инцидент был ему глубоко противен). Кн. Львов охотно согласился поехать «об'ясниться» с Керенским. Конечно, все кончилось пуфом, но тяжелое впечатление осталось. Впрочем, было ли хотя одно закрытое заседание, которое бы не оставило такого впечатления. Но об этом—позже...

В этот же вечер в Таврическом дворце (3 марта) Милюков сказал мне, что на меня рассчитывают для одного из открывающихся крупных постов, и спросил, согласился ли бы я принять должность финляндского

генерал-губернатора. Я сразу же и очень решительно отказался. Помимо всяких соображений личного характера, прежде всего, необходимости уехать из Петербурга, мое отрицательное отношение вызывалось сознанием моей полной неподготовленности к заведыванию финляндскими делами. Я никогда ими специально не интересовался, у меня в Финляндии не было ни связей, ни даже близких знакомств, я плохо ориентировался в тамошних политических настроениях и партийных течениях.

Отказавшись от какого-либо административного поста, я сам предложил свои услуги в качестве «управляющего делами временного правительства»,—должность, соответствующая прежнему управляющему делами совета министров. Я считал, что пост этот, с внешней стороны как бы второстепенный, в условиях нового временного государственного строя, в функционировании которого оставалось так много еще неясного и неопределенного,—приобретал особое значение. Здесь, в сущности говоря, предстояло создать твердые внешние рамки правительственной деятельности, дать ей правильную, однообразную форму, разрешить целый ряд вопросов, которые никого из министров в отдельности не интересовали. Но помимо того,—не отдавая себе еще в то время отчета в той атмосфере, в которую я попаду,—связанный тесными партийными отношениями с рядом министров,— я ожидал, что в заседаниях временного правительства мне будет предоставлен совещательный голос. Впоследствии я вернусь к вопросу о том положении, которое для меня создалось и которое привело меня, при первом же кризисе, связанном с уходом Милюкова и Гучкова, решительно заявить о своем желании покинуть пост управляющего делами.

Милюков не мог не согласиться с теми доводами, ко-

торые я ему привел. Мы с ним еще побеседовали на тему о возможных кандидатах на пост финляндского генерал-губернатора. О моем старом приятеле М. А. Стаховиче в то время еще речь не заходила, и я не знаю, кто предложил эту кандидатуру, оказавшуюся, если не во всех, то во многих отношениях вполне удачной. Не помню, в тот же ли вечер, или на другое утро вопрос о моем назначении управляющим делами был решен положительно. Во всяком случае, уже в субботу, 4 марта, я присутствовал в вечернем заседании временного правительства, происходившем в большом зале совета министров внутренних дел, в здании министерства на площади Александровского театра.

В первые дни существования временного правительства (четверг 2-го и пятницу 3 марта) не могло быть, конечно, речи ни о каком организованном делопроизводстве. Но какое-то подобие канцелярии пришлось импровизировать немедленно, при чем дело это было поручено Я. Н. Глинке, заведывающему делопроизводством Государственной думы. Он воспользовался силами канцелярии думы. Должен, однако, указать, что запись первого—чрезвычайно важного—заседания временного правительства, в котором оно установило основные начала своей власти и своей политики, была сделана совершенно неудовлетворительно и даже невразумительно. Когда я ознакомился с этой записью, то пришел в некоторое недоумение и сказал об этом Милюкову. Прочитав запись, он квалифицировал ее гораздо резче меня. Тогда же было условлено,что он возьмет эту запись и восстановит по памяти ход и решения первого заседания, после чего временное правительство, проверив в полном составе журнал, подпишет его. Запись П. Н. действительно взял, но за два месяца своего пребывания на посту министра иностранных дел не имел, пови-

димому, необходимого досуга, чтобы выполнить эту работу. Сколько раз я ему о ней ни напоминал, он всегда смущенно улыбался и обещал в ближайшие дни заняться ею,—да так и не исполнил своего обещания. Так и осталась запись не использованной,—кажется, он и не вернул ее. Этим об'ясняется, что журналы (печатные) заседаний временного правительства начинаются с № 2.

Скажу здесь вкратце о том, как мною была организована канцелярия временного правительства. Прежде всего надо было разрешить вопрос о моем помощнике,—о лице, на долю которого должна была выпасть значительнейшая доля черной канцелярской работы. Очевидно, таким лицом мог быть только человек, которому бы я всецело и до конца мог доверять, а, вместе с тем, он не должен был быть чужд той канцелярии совета министров, которой предстояло превратиться в канцелярию временного правительства. Само собой разумеется, что первому из этих требований не удовлетворял тогдашний помощник (или товарищ) управляющего делами совета министров (И. Н. Лодыженского)—А. С. Путилов, которого я лично совсем не знал и который, при том, даже не пользовался симпатиями своих сослуживцев. Мой выбор остановился на А. М. Ону. Я его знал с 1894 года, служил пять лет вместе с ним (с 1894 до 1899 года, когда я вышел в отставку) в государственной канцелярии, абсолютно доверял его лояльности и его готовности отдать свои силы работе. С другой стороны, я считал, что он имеет солидный деловой опыт, занимая должность помощника статс-секретаря Государственного совета, и что он для канцелярии не будет homo novus. В самой канцелярии (где я нашел некоторых из бывших моих слушателей в училище правоведения—г.г. Киршбаума, Фрейганта) я не предполагал встретить особенного предубеждения против себя. Но вместе с тем, я не мог

ожидать, что в те два месяца, в течение которых я работал с канцелярией, у меня установятся с нею такие исключительно сердечные отношения. Должен здесь засвидетельствовать, что в огромном большинстве своем служащие канцелярии оказались вполне на высоте своей задачи, требовавшей от них совершенно исключительной трудоспособности, добросовестности и «дискретности». У меня остались самые лучшие воспоминания о нашей общей работе и о нашем прощании, когда я получил от них адрес, очень тепло составленный. Что касается А. М. Ону, то я не разочаровался ни в его преданности и готовности работать, ни в прекрасных качествах его ума и сердца. Должен прибавить, что наши личные отношения были все время и остались наилучшими, и что кроме горячей признательности и искреннего уважения я к нему никаких чувств питать не могу. О своих намерениях по его адресу я его оповестил по телефону еще в субботу, получил от него согласие. Предстояло еще оформить мое собственное положение. Очевидно, назначение меня управляющим делами временного правительства было несовместимо с дальнейшим пребыванием прапорщиком. Уже в субботу 4-го, вечером А. И. Гучков подписал приказ, коим я увольнялся, по этому случаю, в отставку. В понедельник, 6-го, я в Мариинском дворце принял канцелярию. Представлял мне ее А. С. Путилов, утром встретивший меня. Он приветствовал меня речью, я ответил тоже короткой речью. Потом пришел И. Н. Лодыженский и мы с ним довольно долго беседовали в бывшем его служебном кабинете. Все обошлось вполне корректно, доброжелательно, по хорошему. Но в применении к Лодыженскому и к Путилову я впервые столкнулся с тем вопросом о материальном обеспечении ушедших в отставку чиновников, достигших более или менее высоких степеней, который впоследствии

должен был причинить временному правительству столько затруднений. Так как я не намерен, да и не мог бы, держаться в этих записках хронологического порядка, то я и коснусь сейчас этого вопроса, благо он подвернулся под перо.

Как известно, в первые дни и даже в первые недели революции, и в прессе, и в разных публичных речах любили развивать—наряду с темой о «бескровном» характере революции,—пролившей с тех пор, в дальнейшем своем течении и развитии, такие реки крови,—еще и тему о волшебной ее быстроте, о той легкости, с какой был признан новый строй всеми теми силами, которые, казалось, были надежнейшей и вернейшей опорой старого порядка. В числе этих была и бюрократия—всероссийская и в частности петербургская. Я припоминаю, что еще в 1905 году, на первом, после 17 октября, с'езде земских и городских деятелей (в Москве в доме Морозовой на Воздвиженке) был поставлен вопрос о коренном обновлении всей местной администрации, (главным образом, конечно, губернаторов), при чем выставлялось соображение, что от слуг абсолютизма нельзя ожидать ни готовности, ни умения служить новому строю,—что они будут ему недоброжелательствовать и проявлять к нему отношение, которое на современном революционном жаргоне получило название «саботажа». Я тогда выступал против этого предположения. Я указывал, что едва ли в нашем распоряжении имеется достаточное количество подготвленных идейных работников, способных немедленно впречься в сложную государственную машину,—с другой же стороны, шутливо напоминая известное изречение Кукольника «прикажет государь, могу быть акушером», я доказывал, что от местных администраторов (в их большинстве, конечно), не приходится ожидать той стойкости убеждений

и глубины приверженности старым началам, того упорства, которые устояли бы против властного mot d'ordre'а, данного сверху (предполагя, разумеется, искренность и «подлинность» этого mot d'ordre). Мне возражал тогда И. И. Петрункевич. К сожалению, я не присутствовал при этом возражении, в котором Ив. Ил., очень удачно и остроумно воспользовавшись моей цитатой, при общем смехе заявил, что он не хотел бы быть той роженицей, которую обслуживал бы такой «по высочайшему повелению акушер», и что в данном случае участь этой роженицы была бы участью России. При всем остроумии этого возражения, оно меня не убедило. Ибо главным основанием неприемлемости старых администраторов выставлялась не их техническая неподготовленность (много ли у нас вообще технически подготовленных людей), а их внутреннее отношение, их настроение,— и только в этом отношении и имела смысл моя цитата. Я хотел сказать—и думаю теперь,— что огромное большинство бюрократии нисколько не заражено стремлением быть plus royaliste que le roi,— оно охотно бы признало fait acompli, подчинилось бы новому порядку и никаким «саботажем» не стало бы заниматься. Конечно, и в центрах, и на местах, как тогда, в 1905 году, так и теперь в 1917-м, были отдельные люди, которых их прежняя деятельность и совершенно опредленная, яркая политическая физиономия делала и принципиально, и практически неприемлемыми для нового строя. Эти единицы и подлежали бы из'ятию.

Временное правительство поступило, как известно, иначе. Одним из первых—и одним из самых неудачных—его актов была знаменитая телеграмма князя Львова от 5 марта, отправленная циркулярно всем председателям губернских земских управ: «придавая

мое серьезное значение в целях устроения порядка внутри страны и для успеха обороны государства обеспечению безостановочной деятельности всех правительственных и общественных учреждений, временное правительство признало необходимым устранить губернатора и вице-губернатора от исполнения обязанностей», при чем управление губернией временно возлагалось на председателя губернской управы в качестве губернского комиссара временного правительства. Не говоря о том, что в целом ряде губерний, где председателем управы являлось лицо, назначенное старым правительством, это распоряжение сводилось к лишенной всякого смысла и основания замене одних чиновников—другими, далеко не лучшими, даже и в коренных земских губерниях оно привело—во многих случаях—к явной чепухе. Председатель управы был нередко ставленником реакционного большинства, а губернатор—лицом вполне приемлемым и не обладающим никакой реакционной окраской. Временное правительство очень скоро—почти тотчас же—убедилось в том, что рассматриваемая мера была крайне необдуманной и легкомысленной импровизацией. Но что было ему делать. И в этом случае, как и во многих других, оно должно было считаться не с существом, не с действительными реальными интересами, а с требованиями революционной фразы, революционной демагогией и предполагаемыми настроениями масс. Так, всему этому была принесена в жертву вся полиция.

Результатом такой политики явилось массовое увольнение—и выход в отставку—добровольный или вынужденный—целого ряда высших чиновников, военных и гражданских. К этому же приводила ликвидация ряда учреждений и, наконец, естественное прекращение работы (например, в государственном совете). И вот ста-

вился вопрос: как быть с этой многочисленной армией людей, очутившихся по их собственным заявлениям, в положении «раков на мели». Ничтожное меньшинство этих людей не заслуживало внимания и не возбуждало симпатии,—среди них были, конечно, и люди вполне обеспеченные в матеральном отношении. Но подавляющее большинство представляли люди, многие годы добросовестно тянувшие бюрократическую лямку, дожившие иногда до преклонных лет, обремененные многочисленными семьями,—люди всю жизнь бывшие совершенно чуждыми политике, но честно и усердно трудившиеся. А среди членов государственного совета были такие люди, как Н. С. Таганцев, А. Ф. Кони и другие, менее известные люди, но вполне почтенные и безупречные.

Не обладая якобинской неустрашимостью, в ее частом сочетании с якобинской же бессовестностью, временное правительство оказалось в крайнем затруднении при разрешении и общего вопроса о судьбе членов ликвидируемых учреждений, и частных вопросов о судьбе отдельных лиц. Возьму, как одну из наиболее ярких иллюстраций, вопрос о членах государственного совета по назначению. Среди них были люди, не имевшие никаких заслуг перед страной, назначенные по соображениям черносотенной политики, для образования реакционного большинства,—но были, как я уже упомянул, государственные люди, как Кони или Таганцев, а также ряд лиц, для которых государственный совет был венцом долгой и безупречной службы в рядах администрации или магистратуры. По закону, члены государственного совета по назначению получали содержание, каждый раз определяемое персонально верховной властью. Равным образом и пенсии членам государственного совета не определены общим образом в законе. В ближайшее же время после переворота, в первые же

недели, когда выяснилось с полной несомненностью, что государственный совет, как учреждение, обречен на совершенную праздность до учредительного собрания, причем учредительное собрание его, конечно, не сохранит (ни вообще, ни, тем более, в теперешнем его виде), наиболее добросовестные и тактичные члены государственного совета почувствовали неловкость своего положения и нравственную невозможность получать крупное содержание, не делая ничего, и возбудили вопрос об уместности подачи в отставку. При этом они считались (как мне точно известно из личных переговоров с некоторыми из них) с соображениями двоякого рода.

Временное правительство не упразднило с самого начала государственного совета, как учреждения. Потому, членам по назначению, не считавшим возможным продолжать пользоваться преимуществами своего положения, приходилось бы подавать прошения об отставке, т.-е брать инициативу на себя. Если бы одни подали прошения, а другие нет, получилась бы, очевидно, нелепость: на местах остались бы лица, прежде всего и более всего дорожившие своими окладами и положением, а уволены были бы наилучшие. Кроме того, мне приходилось слышать опасения (искренности которых я не имел никакого основания не верить, принимая во внимание, от кого они исходили), что подача таких прошений рядом лиц одновременно или непосредственно одними вслед за другими могло бы произвести впечатление какой-то демонстрации против временного правительства, производимой наиболее авторитетными людьми,—а это, конечно, меньше всего входило в их намерения. Наконец, last not least, возникал вопрос о личной материальной судьбе, тревожившей всех тех, кто существовал только жалованьем, и кто не мог расчитывать ни на получение другого места, ни на частный зарабо-

ток. Таких, конечно, было немало. И все они спрашивали,—будет ли им назначена пенсия, и в каком размере. В самом начале временное правительство, в двух случаях назначило пенсии в размере 7—10 тысяч (кажется, дело шло о В. Н. Коковцеве и об А. С. Танееве, но может быть, здесь я ошибаюсь). И тотчас же митинговые речи перед домом Кшесинской (с первых же дней ставшим штаб-квартирой большевизма) подхватили этот факт. «Временное правительство дает многотысячные пенсии, расточая народные деньги на слуг старого царского режима». Социалистические газеты вторили этим обвинениям. Мне особенно памятны статейки г. Гойхбарта (к сожалению, одного из сотрудников «Права») в «Новой Жизни». Весь этот шум произвел на временное правительство большое впечатление. И когда, наконец, пришлось поставить во всем об'еме вопрос о членах государственного совета (так как в связи с этим печать и митинги завопили по поводу того, что члены государственного совета продолжают получать содержание), правительство потратило целых два заседания на обсуждение его—и не могло притти ни к какому определенному решению. Некоторые из членов государственного совета, соответственно их собственному желанию были назначены в сенат (и получили, стало-быть, сенаторские оклады). Судьба других так и осталась—при мне—неразрешенной. Были ли впоследствии приняты какие-нибудь общие меры я не знаю. Припоминаю, в связи с этим, эпизод, произведший на меня крайне грустное впечатление. Н. С. Таганцев, с которым меня связывали двадцатилетние дружеские отношения, как-то попросил меня (по телефону) побывать у него. Оказалось, что он хотел лично мне передать собственноручно им написанное прошение об отставке и о назначении ему пенсии (впоследствии он

был назначен в 1-й департамент сената и был председателем того отделения, в которое я зачислился; об этом—позже). Передавая мне бумагу, он не мог сдержать своего волнения и всхлипнул. «Да, голубчик, очень тяжело», сказал он,—«ведь я всю жизнь ждал осуществления нового строя. Все, чего я достиг—я, сын крестьянина, записавшегося в купцы 3-й гильдии, чтобы дать мне образование,—всего этого я достиг только своим трудом, и никому ничем не обязан. И вот теперь—я оказываюсь никому ненужным и возвращаюсь в первобытное состояние».

Сюда же относится и другой эпизод. Героем его был малопочтенный человек,—Липский, товарищ и в свое время правая рука финляндского генерал-губернатора, имевший репутацию одного из наиболее воинствующих бобриковцев. Революция его совершенно выбросила за борт, он, помнится, даже был вначале арестован и вывезен из пределов Финляндии. Политическая его физиономия была такова, что о назначении ему какого-нибудь оклада нельзя было и мыслить. Меня он знал потому, что в конце 90-х годов он служил в государственной канцелярии. И вот—начались его посещения. Он рассказал мне, что положение его совершенно безвыходное. Жене его предстояла какая-то тяжелая операция, ее приходилось поместить в санаторий,—у него в Петербурге не было пристанища, «мы ютимся у знакомых», поиски частной службы оказались тщетными. Он умолял меня помочь, посодействовать тому, чтобы ему назначили сенаторское жалованье (он был сенатором). Что я мог ему сказать? Я понимал, что его дело безнадежно,—по человечеству я видел, что человек просто гибнет. К несовершенствам моим, как политического деятеля, я должен причислить то мое свойство, которое в подобных случаях мешает мне сказать «туда ему и

дорога»... В революционную эпоху политическому деятелю приходится быть жестоким и бесжалостным. Тяжело тем, кто к этому органически не способен.

Возвращаюсь к моему рассказу.

В субботу, 4 марта, Н. В. Некрасов просил меня и Н. И. Лазаревского прибыть к нему в министерство путей сообщения для выполнения поручения, данного временным правительством. Поручение состояло в том, чтобы написать первое воззвание временн. правительства ко всей стране, излагающее смысл происшедших исторических событий и profession de foi временного правительства, а также политическую программу, более определенную и полную, чем та, которая заключалась в первой декларации, сопровождающей самое образование временного правительства. Часа в два мы встретились с Н. И. и вместе отправились в министерство. Там кипела лихорадочная деятельность, бегали служащие, сидело, стояло, ходило множество народа. Не без труда разыскали мы Некрасова, председательствовавшего в каком-то совещании. Пришлось немного подождать, совещание при нас закончилось, и Некрасов повел нас внутренним ходом из здания министерства в квартиру министра. Там, в кабинете министра, мы нашли члена государственной думы, А. А. Добровольского, тоже принявшего, по собственной охоте (и, конечно, с общего согласия), участие в нашей работе. Некрасов об'яснил нам программу воззвания и его задачи и оставил нас. Тотчас мы принялись за работу, она продолжалась часов до шести-семи вечера. Шла она очень скоро, и результатом ее явился проект, сохранившийся в моих бумагах, но не увидевший света. Этот проект был на другой день доложен Н. В. Некрасовым временному правительству, но, как я потом узнал, встретил некоторые частичные возражения. А. А. Мануилов внес

предложение—передать его Ф. Ф. Кокошкину (утром приехавшему из Москвы) для переделки. Это было принято. Каким-то образом очутился при этом М. М. Винавер, в качестве сотрудника Кокошкина, при чем этот последний предоставил ему написать текст воззвания заново и—как мне впоследствии говорил сам Кокошкин—текст этот, целиком написанный Винавером, был им, Кокошкиным, внесен временному правительству, которое его санкционировало без изменения. В конце того же месяца, на страницах «Речи», Винавер обратился также с чем-то вроде манифеста «к еврейскому народу», при чем этот документ начинался теми же словами: «Свершилось великое».

Вечером того же дня происходило первое при моем участии, вернее, в моем присутствии, заседание временного правительства, в здании министерства внутренних дел, в зале совета. Там же происходило второе и третье заседание, 5-го и 6-го марта. С 7-го марта заседания были перенесены в Мариинский дворец и происходили там во все время, пока я был управляющим делами, а также и впоследствии, до премьерства Керенского, переехавшего (в средине июля) в Зимний дворец и перенесшего заседания в Малахитовый зал.

Эти первые заседания имели—вполне понятно—характер хаотический. Много времени отнимали всякие мелочи. Помню, что чуть ли не в первом заседании, в субботу, Керенский об'явил, что он в товарищи себе берет Н. Н. Шнитникова, и помню, что этот незначительный факт произвел тогда на меня большое и крайне отрицательное впечатление. Здесь для меня впервые проявилась одна из основных черт этого рокового человека. Эта черта—абсолютная неспособность разбираться в людях и правильно их оценивать. Шнитников—личность, достаточно хорошо известная. Человек добрый

и вполне порядочный, он вместе с тем человек с узко-предвзятым отношением к каждому вопросу. Ни в адвокатуре, ни в городской думе, ни в какой-либо другой сфере он, как хорошо известно, никогда не пользовался ни малейшим авторитетом. И его Керенский хотел поставить рядом с собою, во главе всего судебного ведомства. Само собой разумеется, он бы этим достиг только одного: полного дискредитирования своего собственного и своего товарища. Помню, что стоило некоторого труда отговорить Керенского. Но нужно заметить, что, наряду с внезапностью и стремительностью, его решения отличались всегда большой неустойчивостью и переменчивостью. Это впоследствии проявилось в целом ряде случаев, о которых я скажу в свое время.

В самые первые дни вопрос о судьбе отрекшегося императора оставался совершенно неопределенным. Как известно, немедленно после своего отречения Николай II уехал в ставку. Временное правительство сначала отнеслось к этому обстоятельству как-то индифферентно. Ни в субботу, ни в воскресенье, ни в понедельник не заходила речь в заседаниях, где я присутствовал, о необходимости принять какие-либо меры. Возможно, конечно, что вопрос этот уже тогда обсуждался в частных совещаниях. Во всяком случае, для меня было большой неожиданностью, когда во вторник, 7 марта, я был приглашен в служебный кабинет кн. Львова, в министерство внутренних дел, где я нашел кроме членов временного правительства еще и членов Государственной думы Вершинина, Грибунина и—кажется—Калинина, при чем выяснилось, что временное правительство решило лишить Николая II свободы и перевезти его в Царское село. Императрицу Александру Феодоровну также решено было признать лишенной сво-

боды. Мне было поручено редактировать соответствующую телеграмму на имя ген. Алексеева, который в то время был начальником штаба верховного главнокомандующего. Это было первым, мною скрепленным, постановлением временного правительства, опубликованным с моей скрепой...

Не подлежит сомнению, что при данных обстоятельствах вопрос о том, что делать с Николаем II, представлял очень большие трудности. При более нормальных условиях не было бы, вероятно, препятствий к выезду его из России в Англию, и наши союзнические отношения были бы порукой, что не будут допущены никакие конспиративные попытки к восстановлению Николая II на престоле. Может быть, если бы правительство немедленно, 3-го или 4-го марта, проявило больше находчивости и распорядительности, удалось бы получить от Англии согласие на приезд туда Николая, и он был бы тотчас вывезен. Не знаю, были ли предприняты тогда какие-нибудь шаги в этом направлении. Думается, что нет. От'езд в ставку осложнил положение, вызвав большое раздражение Исполнительного Комитета Совета Раб. и Солд. Депутатов и соответствующую агитацию, результатом которой и явился демонстративный акт временного правительства. Ведь, в сущности говоря, не было никаких оснований—ни формальных, ни по существу—об'являть Николая II лишенным свободы. Отречение его не было—формально—вынужденным. Подвергать его ответственности за те или иные поступки его в качестве императора, было бы бессмыслицей и противоречило бы аксиомам государственного права. При таких условиях правительство имело, конечно, право принять меры к обезврежению Николая II, оно могло войти с ним в соглашение об установлении для него определенного местожительства и установить охрану

его личности. Вероятно, от'езд в Англию и для самого Николая был бы всего желательнее. Между тем, актом о лишении свободы завязан был узел, который и по настоящее время *) остался нераспутанным. Но этого мало. Я лично убежден, что это «битье лежачего»,— арест бывшего императора,—сыграло свою роль и имело более глубокое влияние в смысле разжигания бунтарских страстей. Он придавал «отречению» характер «низложения», так как никаких мотивов к этому аресту не было указано. Затем, пребывание Николая II в Царском селе, в двух шагах от столицы, от бушующего Кронштадта, все время волновало и беспокоило временное правительство,—не в смысле возможности каких-нибудь попыток реставрационного характера, а наоборот—опасением самосуда, кровавой расправы. Были моменты, когда, под влиянием все усиливающейся бунтарской проповеди, эти опасения становились особенно грозными.

Как бы то ни было, после прибытия Николая II в Царское село, всякий дальнейший путь оказался фактически отрезанным—увезти бывшего императора за границу в ближайшие же дни стало совершенно невозможным. Значительно позже, уже в премьерство Керенского, решено было увезти всю царскую семью в Тобольск, при чем эта мера была обставлена очень конспиративно,—настолько, что, кажется, о ней даже не все члены временного правительства были осведомлены.

Вечером 7-го марта впервые временное правительство заседало, как мною уже было упомянуто, в Мариинском дворце. В первые недели заседания назначались два раза в день—в четыре часа и в девять часов.

---

*) Май—Июнь 1918 г. Позднейшее примечание 16/29 (июля 1918 г.): 16 июня в Екатеринбурге этот узел разрублен.

Фактически дневное заседание начиналось (как и вечернее) с огромным запозданием и продолжалось до восьмого часа. Вечернее заседание заканчивалось всегда глубокой ночью. Обычно, во второй своей части оно бывало закрытым, т.-е. удалялась канцелярия,—я оставался один.

Здесь уместно сказать о внешнем ходе тех заседаний временного правительства, коих я был свидетелем в течение первых двух месяцев революц и.

Как я сейчас сказал, заседания неизменно начинались с очнь большим запаздыванием. Я дожидался начала в своем служебном кабинете, занятый какой-нибудь работой или приемом ежедневных многочисленных посетителей. Мне приходили сказать, когда набиралось достаточное количество министров для открытия заседания. Аккуратнее других был кн. Львов, также И. В. Годнев (государственный контролер) и А. А. Мануилов. Иногда заседания начинались при очень небольшом кворуме министров, имевших спешные дела не крупного значения. Эти дела тут же докладывались ими и получали разрешение. Не сразу удалось добиться установления определенной повестки и того, чтобы дела, подлежащие докладу, сообщались заранее управляющему делами. В первых заседаниях, которые велись очень хаотично, министры докладывали дела, при чем то или другое решение записывалось очень приблизительно. Я добился того, что, как общее правило, каждое представление, вносимое временному правительству, заканчивалось проектом постановления, который, разумеется, мог подвергаться изменениям в зависимости от хода и исхода суждений. Что касается суждений, происходивших в заседаниях, то сразу решено было их формально не записывать, а также не отмечать разногласий при голосованиях, не вносить особых мнений в жур-

нал и т. д. Исходной точкой, при этом, было стремление, избегнуть всего того, что могло нарушить единство правительства и ответственность его в целом за каждое принятое решение. Ведение подробного протокола каждого заседания представляло бы, кроме того, и ряд существенных затруднений, трудно преодолимых. Члены временного правительства склонны были—особенно в начале—с некоторой подозрительностью и недоверием относиться к присутствию в заседаниях чинов канцелярии. Подробное записывание всего того, что говорилось, вызвало бы протест, требование проверки, и в конце концов, при массе вопросов, рассматриваемых в каждом заседании, ни один журнал не был бы закончен. Нужно, впрочем, сказать, что за редкими исключениями, суждения, происходившие в открытых заседаниях, не представляли большого интереса. Министры приходили в заседание всегда до последней степени утомленные. Работа каждого из них, конечно, превышала нормальные человеческие силы. В заседаниях часто рассматривались очень специальные вопросы, чуждые большинству, и министры часто полу-дремали, чуть-чуть прислушиваясь к докладу. Оживление и страстные речи начинались только в закрытых заседаниях, а также в заседаниях с «контактной комиссией» Исполнительного Комитета Совета Раб. и Солд. Депутатов.

Здесь мое положение было особенно тягостным, и здесь я сразу почувствовал, что роль моя существенно разнится от той, которую я себе представлял, идя на сравнительно второстепенный пост управляющего делами. Дело заключается в следующем.

В составе временного правительства у меня были друзья—личные и политические,—были случайные знакомые, были, наконец, люди, с которыми я встретился впервые. К *первым* я относил: Милюкова, Шингарева,

Некрасова, Мануилова, отчасти кн. Львова. Ко *вторым*—Керенского, Гучкова, Терещенко. К *третьим*—Коновалова, В. Н. Львова, И. В. Годнева. Из второй группы лучше других я знал М. И. Терещенко, при чем, однако, это знакомство было чисто светское. Я сохранил о нем представление, как о блестящем молодом человеке, очень приятном в обращении, меломане и театрале, чиновнике особых поручений при Теляковском. Скачок к министру финансов временного правительства был, конечно, очень велик, и мне трудно было сочетать новую роль Терещенка со старым моим представлением о нем. Но, вместе с тем, у меня не было никаких оснований ожидать от него какого-либо иного отношения, кроме полного дружелюбия. Гучкова я знал со времени общеземских с'ездов 1905 года. Он сразу отнесся ко мне с полным доверием и предупредительностью. То же самое приходится мне сказать и о трех лицах третьей группы. Для меня нет сомнений, что, не будь в составе правительства Керенского, я бы чувствовал себя в среде временного правительства совершенно свободно, не обрек бы себя на молчание, на ту роль пассивного слушателя и свидетеля, которая, в конце концов, стала для меня совершенно невыносимой.

В связи с этим, мне хотелось бы здесь свести мои впечатления, как о Керенском, так и о других. Я не собираюсь давать им исчерпывающую характеристику: для этого у меня, прежде всего, нет достаточно материала. Но, как-никак, я встречался со всеми этими людьми ежедневно в течение двух месяцев; я видел их в очень важные и ответственные минуты, я мог пристально наблюдать их, а потому, полагаю, даже и отрывочные мои впечатления не лишены некоторого интереса и могут, со временем, когда эти мои заметки, в том или другом виде, будут использованы, войти в об-

щую массу исторических материалов о русской революции 1917 года и ее деятелях.

A tout Seignenr tout honneur. Начну с Керенского.

Прошло семь месяцев с тех пор, как я в последний раз видел Керенского, но мне не стоит никакого труда вызвать в памяти его внешний облик. Я впервые с ним познакомился лет восемь тому назад. Наши встречи были совершенно мимолетные, случайные: на Невском, на какой-нибудь панихиде и т. п. Мне про него говорили (еще до избрания его в Государственную думу), что это человек даровитый, но не крупного калибра. Его внешний вид—некоторая франтоватость, бритое актерское лицо, почти постоянно прищуренные глаза, неприятная улыбка, как-то особенно открыто обнажавшая верхний ряд зубов,—все это вместе взятое мало привлекало. Во всяком случае, ни в нем самом, ни в том, что приходилось о нем слышать, не только не было ничего, дающего хотя отдаленную возможность предполагать будущую его роль, но вообще не было никаких данных, останавливающих внимание. Один из многих политических защитников, далеко не первого разряда. В большой публике его стали замечать только со времени его выступлений в Государственной думе. Там он в силу партийных условий фактически оказался в первых рядах и, так как он во всяком случае был головою выше той серой компании, которая его в думе окружала,—так как он был недурным оратором, порою даже очень ярким, а поводов к ответственным выступлениям было сколько угодно, то естественно, что за четыре года его стали узнавать и замечать. При всем том, настоящего, большого, общепризнанного успеха он никогда не имел. Никому бы не пришло в голову поставить его, как оратора, рядом

с Маклаковым или Родичевым, или сравнить его авторитет, как парламентария, с авторитетом Милюкова или Шингарева. Партия его в четвертой думе была незначительной и маловлиятельной. Позиция его по вопросу о войне была, в сущности, чисто циммервальдской. Все это далеко не способствовало образованию вокруг его имени какого-либо ореола. Он это чувствовал, и, так как самолюбие его—огромное и болезненное, а самомнение—такое же, то естественно, что в нем очень прочно укоренились *такие* чувства к своим выдающимся политическим противникам, с которыми довольно мудрено было совместить стремление к искреннему и единодушному сотрудничеству. Я могу удостоверить, что Милюков был его bête noire в полном смысле слова. Он не пропускал случая отозваться о нем с недоброжелательством, иронией, иногда с настоящей ненавистью. При всей болезненной гипертрофии своего самомнения, он не мог не сознавать, что между ним и Милюковым—дистанция огромного размера. Милюков вообще был несоизмерим с прочими своими товарищами по кабинету, как умственная сила, как человек огромных, почти неисчерпаемых знаний и широкого ума. Я ниже постараюсь определить, в чем были недостатки его, по моему мнению, как политического деятеля. Но он имел одно огромное преимущество: позиция его по основному вопросу,—тому вопросу, от решения которого зависел весь ход революции, вопросу о войне,—позиция эта была совершенно ясна и определенна и последовательна, тогда как позиция «заложника демократии» была и двусмысленной, и недоговоренной и, по существу, ложной. В Милюкове не было никогда ни тени мелочности, тщеславия,—вообще, личные его чувства и отношения в ничтожнейшей степени отражались на его политическом поведении; оно

ими никогда не определялось. Совсем наоборот у Керенского. Он весь был соткан из личных импульсов...

. . . .

Трудно даже себе представить, как должна была отразиться на психике Керенского та головокружительная высота, на которую он был вознесен в первые недели и месяцы революции. В душе своей он все-таки не мог не сознавать, что все это преклонение, идолизация его,—не что иное,—как психоз толпы,—что за ним, Керенским, нет таких заслуг и умственных или нравственных качеств, которые бы оправдывали такое истерически-восторженное отношение. Но несомненно, что с первых же дней душа его была «ушиблена» той ролью, которую история ему—случайному, маленькому человеку—навязала, и в которой ему суждено было так бесславно и бесследно провалиться. . . . .

. . . .

Я сейчас сказал, что в «идолизации» Керенского проявился какой-то психоз русского общества. Это, может быть, слишком мягко сказано. Ведь в самом деле, нельзя же было не спросить себя, каков политический багаж того, в ком решили признать «героя революции», что имеется в его активе. С этой точки зрения любопытно *теперь,* когда «облетели цветы, догорели огни», перечитать в газетной передаче faits et gestes Керенского за 8 месяцев, его речи, его интервью... Если он действительно был героем первых месяцев революции, то этим самым произнесен достаточно веский приговор этой революции.

С упомянутым сейчас болезненным тщеславием в Керенском соединялось еще одно неприятное свойство: актерство, любовь к позе и, вместе с тем, ко всякой пышности и помпе. Актерство его, я помню, проявлялось даже в тесном кругу временного правительства,

где, казалось бы, оно было совершенно бесполезно и нелепо, так как все друг друга хорошо знали и обмануть не могли. Один из эпизодов такого актерства— столкновение с Милюковым, по поводу заявления этого последнего о роли немецких денег в русской революции,—рассказан выше.

Те, кто были на так называемом государственном совещании в Большом Московском театре, в августе 1917 года, конечно, не забыли выступлений Керенского,—первого, которым началось совещание, и последнего, которым оно закончилось. На тех, кто здесь видел или слышал его впервые, он произвел удручающее и отталкивающее впечатление. То, что он говорил, не было спокойной и веской речью государственного человека. а сплошным истерическим воплем психопата, обуянного манией величия. Чувствовалось напряженное, доведенное до последней степени желание произвести впечатление, импонировать. Во второй—заключительной—речи он, повидимому, совершенно потерял самообладание и наговорил такой чепухи, которую пришлось тщательно вытравлять из стенограммы. До самого конца он совершенно не отдавал себе отчета в положении. За четыре-пять дней до октябрьского большевистского восстания, в одно из наших свиданий в Зимнем дворце, я его прямо спросил, как он относится к возможности большевистского выступления, о котором тогда все говорили. «Я был бы готов отслужить молебен, чтобы такое выступление произошло»—ответил он мне. «А уверены ли вы, что сможете с ним справиться?» «У меня больше сил, чем нужно. Они будут раздавлены окончательно».

Единственная страница из всей печальной истории пребывания Керенского у власти, дающая возможность смягчить общее суждение о нем, это его роль в деле

последнего нашего наступления (18 июня). В своей речи на московском совещании я указал на эту роль в выражениях, быть может, даже преувеличенных. Но несомненно, что в этом случае в Керенском проявилось подлинное горение, блеснул патриотический энтузиазм,—увы! слишком поздно...

Чрезвычайно любопытно было отношение Керенского к Исполнительному Комитету Совета Раб. и Солд. Депутатов. Он искренно считал, что временное правительство обладает верховной властью и что Исполнительный Комитет не вправе вмешиваться в его деятельность. Он относился с враждой и презрением к Стеклову-Нахамкесу, который в течение первого месяца был porte-parole Исполнительного Комитета в заседаниях временного правительства и контактной комиссии. Нередко после конца заседания и в a parte во время заседания он негодовал на слишком большую мягкость кн. Львова в обращении с Стекловым. Но сам он решительно избегал полемики с ним, ни разу не попытался отстоять позицию временного правительства. Он все как-то лавировал, все как-то хотел сохранить какое-то свое особенное положение «заложника демократии»—положение фальшивое по существу и ставившее временное правительство в очень большое затруднение.

Мои личные отношения с Керенским пережили несколько стадий. В самом начале, при моем вступлении в должность управляющего делами, он чувствовал ко мне большое недоверие. Ему, повидимому, казалось, что я усиливаю чисто-кадетский элемент во временном правительстве, и он старался мне помешать играть какую-либо политическую роль. Я отлично сознавал, что всякая попытка с моей стороны принять участие в обсуждении того или другого вопроса, хотя бы в закрытых заседаниях временного правительства, вызовет

резкий протест со стороны Керенского,—во имя прерогатив временного правительства—и поставит меня в крайне неудобное положение. В сущности говоря, именно благодаря присутствию Керенского, моя роль оказалась настолько несоответствующей тому, что я ожидал, что на первых же порах у меня возник вопрос, оставаться ли мне на моем посту. И если я на этот вопрос не ответил сразу отрицательно и ушел только тогда, когда произошел первый кризис в составе временного правительства, с уходом Милюкова (и Гучкова), пополнился Черновым, Церетели, Скобелевым и Пешехоновым, то поступил я так исключительно в интересах дела, которое хотел оставить вполне налаженным и устроенным. Впоследствии, когда Керенский убедился, что я не питаю никаких личных замыслов, он изменил свое отношение. Это выразилось не только в сделанных мне предложениях занять министерский пост, но и во всем характере личного обращения. Наконец, в самое последнее время, Керенский пытался через меня влиять на партию народной свободы и получить ее поддержку в совете российской республики. Об этом я скажу ниже.

После всего сказанного, едва ли кто заподозрит меня в пристрастии, если я все-таки не могу присоединиться к тому потоку хулы и анафематствования, которым теперь сопровождается всякое упоминание имени Керенского. Я не стану отрицать, что он сыграл поистине роковую роль в истории русской революции, но произошло это потому, что бездарная, бессознательная бунтарская стихия случайно вознесла на неподходящую высоту недостаточно сильную личность. Худшее, что можно сказать о Керенском, касается оценки основных свойств его ума и характера. Но о нем можно повторить те слова, которые он недавно—с таким изу-

мительным отсутствием нравственного чутья и элементарного такта—произнес по адресу Корнилова. «По своему» он любил родину,—он в самом деле горел революционным пафосом,—и бывали случаи, когда изпод маски акера пробивалось подлинное чувство. Вспомним его речь о взбунтовавшихся рабах, его вопль отчаяния, когда он почуял ту пропасть, в которую влечет Россию разнузданная демагогия. Конечно, здесь не чувствовалось ни подлинной силы, ни ясных велений разума, но был какой-то искренний, хотя и бесплодный, порыв, Керенский был в плену у своих бездарных друзей, у своего прошлого. Он органически не мог действовать прямо и смело, и, при всем его самомнении и самолюбии, у него не было той спокойной и непреклонной уверенности, которая свойственна действительно сильным людям. «Героического» в смысле Карлейля в нем не было решительно ничего. Самое черное пятно в его кратковременной карьере—это история его отношений с Корниловым, но об ней я говорить не буду, так как знаю о ней только то, что общеизвестно.

К Керенскому мне придется еще не раз вернуться на протяжении моего рассказа. Покамест ограничиваюсь написанным и перехожу к другому лицу, на которого вся Россия возлагала такие колоссальные ожидания и которых он не оправдал.

Я знал кн. Г. Е. Львова со времени 1-й думы. Хотя он числился в рядах партии народной свободы, но я не помню, чтобы он принимал сколько-нибудь деятельное участие в партийной жизни, в заседаниях фракции или центрального комитета. Думаю, я не погрешу против истины, если скажу, что у него была репутация чистейшего и порядочнейшего человека, но не выдающейся политической силы. Он, после роспуска 1-й думы, также был в Выборге, но не принимал участия в

совещаниях и не подписал воззвания. Я помню, что он остановился в тех же номерах, в которых жил я и Д. Д. Протопопов, и тотчас по приезде заболел и так и не выходил из номера до от'езда из Выборга. Протопопов приписывал болезнь тому волнению, в котором он находился. Подобно многим из нас, он в душе не сочувствовал воззванию, не верил в него, считал его ошибкой, но сознавал свое бессилие воспрепятствовать ему, не имея никакого другого приемлемого и яркого плана действий. Помню его бледное, расстроенное лицо, его беспомощную фигуру. С тех пор я его 11 лет не встречал. Как и все, я считал его отличным организатором, возлагал большие упования на его огромную популярность в земской России и в армии.. Выше я уже упомянул о впечатлении, произведенном на меня первой встречей с кн. Львовым в Таврическом дворце, в день конструирования врем. правительства. Я бы сказал, что это впечатление было пророческое. Правда, в ближайшие дни кн. Львов внешне преобразился, загорелся какой-то лихорадочной энергией и, как мне казалось,—по крайней мере в первое время—какой-то верой в возможность устроить Россию.

Задача министра-председателя в первом вр. правительстве была, действительно, очень трудна. Она требовала величайшего такта, уменья подчинять себе людей, об'единять их, руководить ими. И, прежде всего, она требовала строго определенного, систематически осуществляемого плана. В первые дни после переворота авторитет Вр. Правительства и самого Львова стоял очень высоко. Надо было воспользоваться этим обстоятельством, прежде всего, для укрепления и усиления власти. Надо было понять, что все разлагающие силы наготове начать свою разрушительную работу, пользуясь тем колоссальным переворотом в психологии

масс, которым не мог не сопровождаться политический переворот, так совершенный и так развернувшийся. Надо было уметь найти энергичных и авторитетных сотрудников и либо самому отдаться всецело министерству внутренних дел, либо—раз оказывалось невозможным по настоящему совмещать обязанности министра внутренних дел с ролью премьера,—найти для первой должности настоящего заместителя.

Я не хочу сказать ничего пренебрежительного,—а тем паче—дурного о Д. М. Щепкине или о кн. С. Д. Урусове, но я думаю, что от них трудно было ожидать того, чего не мог дать сам кн. Львов. Щепкин—добросовестнейший и трудолюбивейший работник, прекрасный человек, полный энергии и bonne volonté. Но он не мог импонировать ни опытом, ни общественным авторитетом, ни личной своей индивидуальностью,—сам это прекрасно сознавал и в *самостоятельных* действиях был парализован этим сознанием. Князь Урусов, видимо, совершенно растерялся в новой обстановке, плохо ориентировался, чувствовал себя совершенно не на месте. Как-никак, вся его бюрократическая карьера протекла в условиях, радикально противоположных тем, в которых он очутился. И он прошел какой-то бледной тенью, тоже одушевленной самыми лучшими намерениями, но бессильный их осуществить. И он смог бы быть помощником и исполнителем, но нельзя было от него ожидать решимости, инициативы, творчества.

То обстоятельство, что министерство внутренних дел—другими словами, *все управление, вся полиция*—осталось совершенно неорганизованным, сыграло очень большую роль в общем процессе разложения России. В первое время была какая-то странная вера, что все как-то само собою образуется и пойдет правильным, организованным путем. Подобно тому, как идеализиро-

вали революцию («великая», «бескровная»), идеализировали и население. Имели, например, наивность думать, что огромная столица, со своими подонками, со всегда готовыми к выступлению порочными и преступными элементами, может существовать без полиции, или же с такими безобразными и нелепыми суррогатами, как импровизированная щедро оплачиваемая милиция, в которую записывались профессиональные воры и беглые арестанты. Всероссийский поход против городовых и жандармов очень быстро привел к своему естественному последствию. Аппарат, хоть кое-как, хоть слабо, но все же работавший, был разбит вдребезги. И постепенно в Петербурге и Москве начала развиваться анархия. Рост ее сразу страшно увеличился после большевистского переворота. Но сам переворот стал возможным и таким удобоисполнимым только потому, что *исчезло сознание существования власти*, готовой решительно отстаивать и охранять гражданский порядок.

Было бы, конечно, в высшей степени несправедливо возлагать всю ответственность за совершившееся на кн. Львова. Но одно должно сказать, как бы сурово не звучал такой приговор: кн. Львов не только не сделал, но даже не попытался сделать что-нибудь для противодействия все растущему разложению. Он сидел на козлах, но даже не пробовал собрать вожжи. Сколько я пережил мучительных заседаний, в которых с какою-то неумолимой ясностью выступали наружу все бессилие временного правительства, разноголосица, внутренняя несогласованность, глухая и явная вражда одних к другим, и я не помню ни одного случая, когда бы раздался со стороны министра-председателя властный призыв, когда бы он высказался решительно и определенно. При всем том, кн. Львов был осаждаем букваль-

но с утра до вечера. Беспрерывно несся поток срочных телеграмм со всех концов России с требованиями указаний, раз'яснений, немедленного осуществления безотлагательных мер. К Львову обращались по всевозможным поводам, серьезным и пустым,—как к главе правительства и как к министру внутренних дел,—беспрерывно вызывали его по телефону, приезжали к нему в министерство и в Мариинский дворец. Первоначально я пытался установить час для ежедневного своего доклада и получения всех нужных указаний, но очень скоро убедился, что эти попытки совершенно тщетны, а в редких случаях, когда их удавалось осуществлять, они оказывались и совершенно бесполезными. Никогда не случалось получить от него твердого, определенного решения,—скорее всего он склонен бывал согласиться с тем решением, которое ему предлагали. Я бы сказал, что он был воплощением пассивности. Не знаю, было ли это сознательной политикой или результатом ощущения своего бессилия, но казалось иногда, что у Львова какая-то мистическая вера, что все образуется как-то само собой. А в иные моменты мне казалось, что у него совершенно безнадежное отношение к событиям, что он весь проникнут сознанием невозможности повлиять на их ход, что им владеет фатализм и что он только для внешности продолжает играть ту роль, которая—помимо всякого с его стороны желания и стремления—выпала на его долю.

В избрании Львова для занятия должности министра-председателя—и в отстранении Родзянко—деятельную роль сыграл Милюков, и мне пришлось впоследствии слышать от П. Н., что он нередко ставил себе мучительный вопрос, не было ли бы лучше, если бы Львова оставили в покое и поставили Родзянко, человека, во всяком случае, способного действовать реши-

тельно и смело, имеющего свое мнение и умеющего на нем настаивать.

Тяжелое впечатление производило на меня и отношение кн. Львова к Керенскому. Мои помощники по канцелярии нередко им возмущались, усматривая в нем недостаточное сознание своего достоинства, как главы правительства. Часто было похоже на какое-то робкое заискивание. Конечно, здесь не было никаких личных мотивов. У кн. Львова абсолютно они отсутствовали, он чужд был честолюбия и никогда не цеплялся за власть. Я думаю, он был глубоко счастлив в тот день, когда освободился от ее бремени. Тем удивительнее, что он не умел использовать тот нравственный авторитет, с которым он пришел к власти. Тоном власть имеющего говорил во временном правительстве не он, а Керенский...

В естественной последовательности мне приходится теперь говорить о Гучкове,—но это мне всего труднее.

Прежде всего, я очень мало мог наблюдать Гучкова в составе временного правительства. Значительную часть времени он отсутствовал, занятый поездками на фронт и в ставку. Потом—в средине апреля—он хворал. Но главное: во все время его пребывания в должности военного и морского министра, он был для внешнего наблюдателя почти непроницаем. Теперь, оглядываясь назад на это безумное время, я склонен думать, что Гучков с самого начала в глубине души считал дело проигранным и оставался только par acquit de conscience. Во всяком случае, ни у кого не звучала с такой силой, как у него, нота глубокого разочарования и скептицизма, поскольку вопрос шел об армии и флоте. Когда он начинал говорить своим негромким и мягким голосом, смотря куда-то в пространство слегка косыми гла-

зами, меня охватывала жуть, сознание какой-то полной безнадежности. Все казалось обреченным.

Первое заседание, всецело посвященное вопросу о положении на фронте, было, должно быть, 7 марта, вечером того дня, когда заседания временного правительства были перенесены в Мариинский дворец. Я могу восстановить эту дату потому, что в этом заседании решено было составить то воззвание к армии и к населению, которое появилось 10-го марта, но было поручено мне, написано мною на другой день, 8-го, обсуждалось в дневном заседании 9-го и было принято почти без изменений. (Почему-то оно не помещено в изданном государственной канцелярией сборнике и сохранилось только в вестнике временного правительства и в газетах). Я помню, что в этом заседании сказались две точки зрения на значение происшедших событий для военных наших операций. Одна была та, которая официально высказывалась в речах и сообщениях: согласно этой точки зрения устанавливалась причинная связь между плохим ведением войны царским правительством и революцией. В революции как бы концентрировался взрыв протеста против бездарного, неумелого, изменнического (Штюрмер!) поведения этого царского правительства. Революция должна была все это изменить, она должна была создать более полную, более искреннюю и потому более плодотворную связь между нами и великими европейскими демократиями, нашими созниками. С этой точки зрения революция могла рассматриваться, как положительный фактор в деле ведения войны. Предполагалось, что командный состав будет обновлен, что найдутся даровитые и энергичные генералы, что дисциплина быстро восстановится. Должен с грустью сказать, что наши партийные взгляды все время стремились поддержать этот

официальный оптимизм. У некоторых, как, например, у А. И. Шингарева, он сохранился до очень позднего времени—до осени 1917 г. Я считаю, что неправильное понимание того значения, которое война имела в качестве фактора революции, и нежелание считаться со всеми последствиями, которые революция должна была иметь в отношении войны,—и то и другое сыграло роковую роль в истории событий 1917 года. Я припоминаю, как в одну из моих поездок куда-то в автомобиле вместе с Милюковым, я ему высказал (это было еще в бытность его министром иностранных дел) свое убеждение, что одной из основных причин революции было утомление войной и нежелание ее продолжать. Милюков с этим решительно не соглашался. По существу же он выразился так: «кто его знает, может быть, еще благодаря войне все у нас еще кое-как держится, а без войны скорее бы все рассыпалось». Конечно, от одного сознания, что война разлагает Россию, было бы не легче. Ни один мудрец ни тогда, ни позже не нашел бы способа закончить ее без колоссального ущерба—морального и материального—для России. Но если бы в первые же недели было ясно сознано, что для России война безнадежно кончена и что все попытки продолжать ее ни к чему не приведут,—была бы по этому основному вопросу другая ориентация и—кто знает?—катастрофу, быть может, удалось бы предотвратить. Я не хочу этим сказать, что один только факт революции разложил армию, и менее, чем кто-либо, я склонен преуменьшать гибельное значение той преступной и предательской пропаганды, которая сразу же началась. Менее, чем кто-либо, я склонен оправдывать, в отношении этой пропаганды, дряблость и равнодушие временного правительства. Но, все же, я глубоко убежден, что сколько-нибудь успешное ведение войны было

просто несовместимо с теми задачами, которые революция поставила внутри страны, и с теми условиями, в которых эти задачи приходилось осуществлять. Мне кажется, что и у Гучкова было это сознание. Я помню, что его речь в заседании 7 марта, вся построенная на тему «не до жиру, быть бы живу», дышала такой безнадежностью, что на вопрос, по окончании заседания, «какое у вас мнение по этому вопросу?», я ему ответил, что по-моему, если его оценка правильна, то из нее нет другого вывода, кроме необходимости сепаратного мира с Германией. Гучков с этим, правда, не соглашался, но опровергнуть такой вывод он не мог. В этот же памятный вечер он предложил мне, после заседания, поехать с ним на квартиру военного министра (которую он в то время уже занял) и присутствовать при разговоре его по прямому проводу с ген. Алексеевым. «Посмотрим, что он нам скажет». Сообщения ген. Алексеева были в высшей степени мрачны. В том колоссальном сумбуре, который создался в первые же дни революции, он сразу распознал элементы грядущего разложения и огромную опасность, грозившую армии. Гучков сообщил ему предполагаемое содержание воззвания и спросил его, полагает ли он, что такое воззвание будет полезно. Алексеев ответил утвердительно. Кстати скажу, что почти одновременно с составленным мною воззванием появилось аналогичное, написанное в военном министерстве, а также приказ по войскам. Все они развивали те же мысли, и все остались совершенно бесплодными.

Гучков—и это характерно—первый из среды временного правительства пришел к убеждению, что работа временного правительства безнадежна и бесполезна, и что «нужно уходить». На эту тему он неоднократно говорил во второй половине апреля. Он все требовал,

чтобы временное правительство сложило свои полномочия, написав себе самому некую эпитафию, с диагнозом положения и прогнозом будущего. Известная декларация временного правительства от 23 апреля (о которой я впоследствии буду еще говорить) ведет свое происхождение от этих разговоров. «Мы должны дать отчет, что нами сделано, и почему мы дальше работать не можем,—написать своего рода политическое завещание». Декларация 23 апреля оказалась, однако, в иных тонах и с иными выводами. Я думаю, что она была той последней каплей, которая переполнила чашу и вызвала решение Гучкова уйти из состава временного правительства.

За те два месяца, в течение которых Гучков занимал должность военного министра, роль его во временном правительстве оставалась неясной. В заседаниях, как я уже сказал, он бывал редко. Высказывался еще реже. В возникавших конфликтах он старался вносить ноту примирения, но в том памятном столкновении между Керенским и Милюковым по вопросу о целях войны и задачах внешней политики он как-то оставался в тени, не оказал поддержки ни той, ни другой стороне. Да и вообще, он как будто умышленно уходил в эту тень. Его уход из состава временного правительства был неожиданностью. Помню, что Некрасов назвал этот уход—«ударом в спину». Но сам Гучков решительно доказывал, что кн. Львов должен был ждать отставки военного министра, что он, Гучков, о ней категорически предупреждал.

В составе временного правительства чрезвычайно характерной фигурой был И. В. Годнев,—государственный контролер. Я его совершенно не знал, даже в лицо, и впервые с ним встретился в заседаниях временного правительства. Постоянно встречая его фамилию в дум-

ских отчетах в связи с разного рода юридическими вопросами и спорами по толкованию закона, я составил себе представление о нем, как о знатоке нашего права, как о человеке, хотя, быть может, и не получившим юридического специального образования, но приобретшем соответствующие познания на практике и умеющем ориентироваться в юридических вопросах. Кроме того, я полагал, что Годнев—одна из крупных политических фигур Государственной думы. Хорошо помню мое впечатление от первого знакомства с Годневым. На нем самом, на всей его повадке, и, конечно, всего более на тех приемах, с какими он подходил к тому или другому политическому или юридическому вопросу, лежала печать самой простодушной обывательщины, глубочайшего провинциализма, что-то в высшей степени наивное и ограниченное. В его преклонении перед началом законности было нечто почтенное и даже трогательное, но, так как он был совершенно неспособен разобраться в постоянных столкновениях нового порядка с неотмененными правилами основных законов, то на каждом шагу он попадал в тупик, испытывал мучительное недоумение, искренно волновался. Как политическая величина, он держался совершенно пассивно; и также волновался во всех случаях, когда в среде правительства происходили какие-нибудь резкие пререкания и несогласия. Человек безусловно чистый, исполненный самых лучших намерений и заслуживающий самого нелицемерного уважения, он был—в среде временного правительства—воплощенным недоразумением и, повидимому, оставался на своем месте только по инерции и потому, что на это место не было желательных кандидатов. Как только выяснилась кандидатура Кокошкина (в июле), Годнев, безропотно сидевший с Церетелли и Скобелевым, так же безропотно и, наверно.

с облегченным сердцем передал Кокошкину свою должность.

Обер-прокурор св. синода В. Н. Львов так же, как и Годнев, был одушевлен самыми лучшими намерениями и также поражал своей наивностью да еще какимто невероятно легкомысленным отношением к делу,— не к своему специальному делу, а к общему положению, к тем задачам, которые действительность каждый день ставила перед временным правительством. Он выступал всегда с большим жаром и одушевлением и вызывал неизменно самое веселое настроение не только в среде правительства, но даже у чинов канцелярии.

Говоря о В. Н. Львове, я не могу здесь же не записать эпизода, случившегося гораздо позднее, но имеющего тесную связь с характеристикой Львова.

Это было в двадцатых числах августа (1917 года), во вторник на той неделе, в конце которой Корнилов подступил к Петербургу. Утром ко мне позвонил Львов и сказал мне, что у него есть важное и срочное дело, по которому он пытался переговорить с Милюковым, как председателем центрального комитета, и с Винавером, как товарищем председателя, но ни того, ни другого не удалось добиться (кажется, они были в от'езде), и потому он обращается ко мне и просит назначить время, когда бы он мог со мной повидаться. Мы условились, что он будет у меня в шесть часов вечера. Я несколько запоздал возвращением домой и, когда пришел, застал Львова у себя в кабинете. У него был таинственный вид, очень значительный. Не говоря ни слова, он протянул мне бумажку, на которой было написано приблизительно следующее: (списать я текста не мог, но помню очень отчетливо): «Тот генерал, который был вашим визави за столом, просит вас предупредить министров к.-д., чтобы они такого-то авгу-

ста (указана была дата, в которую произошло выступление Корнилова, пять дней спустя, кажется 28 августа; сейчас я не могу точно ее восстановить, но по газетам это не трудно сделать) подали в отставку, в целях создания правительству новых затруднений и в интересах собственной безопасности». Это было несколько строк по средине страницы, без подписи. Не понимая ничего, я спросил Львова, что значит эта энигма, и что требуется, собственно говоря, от меня. «Только довести об этом до сведения министров к.-д.». «Но», сказал я, «едва-ли такие анонимные указания и предупреждения будут иметь какое бы то ни было значение в их глазах». «Не расспрашивайте меня, я не имею права ничего добавить». «Но тогда, повторяю, я не вижу, какое практическое употребление я могу сделать из вашего сообщения». После некоторых загадочных фраз и недомолвок, Львов, наконец, заявил, что будет говорить откровенно, но берет с меня слово, что сказанное останется между нами, «иначе меня самого могут арестовать». Я ответил, что хочу оставить за собою право передать то, что узнаю от Львова, Милюкову и Кокошкину, на что он тотчас же согласился. Затем он мне сказал следующее: «От вас я еду к Керенскому и везу ему ультиматум: готовится переворот, выработана программа для новой власти с диктаторскими полномочиями. Керенскому будет предложено принять эту программу. Если он откажется, то с ним произойдет окончательный разрыв, и тогда мне, как человеку близкому к Керенскому и расположенному к нему, останется только позаботиться о спасении его жизни». На дальнейшие мои вопросы, имевшие целью более определенно выяснить, в чем же дело, Львов упорно отмалчивался, заявляя, что он и так уже слишком много сказал. Насколько я помню, имя Корнилова не было произнесе-

но, но *несомненно* сказано, что ультиматум исходит из ставки. На этом разговор закончился и Львов поехал к Керенскому. Насколько можно судить из тех сведений, которые впоследствии были опубликованы, Львов в этом первом разговоре с Керенским совсем не выполнил того плана, о котором он мне сообщал. Он не ставил никаких ультиматумов (это было сделано в конце недели, после того, как Львов с'ездил в Москву и снова вернулся), а просто говорил о каких то положениях и требованиях, исходящих от каких-то общественных групп. Так, по крайней мере, передавал разговор сам Керенский, и Львов этого не опроверг. Я, к сожалению, не имел потом случая встретиться с Львовым, и весь инцидент до настоящего времени остался для меня недостаточно раз'ясненным. Но одно для меня несомненно. Или Львов по дороге в Зимний дворец резко изменил свои намерения, или—Керенский уже пять дней знал о том, что готовится. Я лично склоняюсь скорее ко второму предположению. К сожалению, в то время, когда я пишу эти строки *), я еще не знаком с книгой Керенского, в которой он излагает свои показания по делу Корнилова, разукрашивая их позднейшими добавлениями. Но если действительно столь ответственные поручения были даны такому человеку, как В. Н. Львов, то это только свидетельствует о том, что инициаторы переворота очень плохо разбирались в людях и действовали крайне легкомысленно... Милюков впоследствии выражал предположение, что Львов «жестоко напутал» во всей этой истории. Повторяю, она осталась для меня загадочной. Должен еще прибавить, что о разговоре моем я в тот же вечер собщил Кокошкину, а также другим нашим министрам (Ольденбургу и Кар-

*) Конец июля 1918 г.

ташеву), с которыми виделся почти ежедневно в квартире А. Г. Хрущева. Помню, что я просил их обратить внимание на поведение Керенского в вечернем заседании. Впоследствии они мне сообщили, что Керенский держался как всегда, никакой разницы.

К характеристике В. Н. Львова еще добавлю: когда Милюков в двух заседаниях познакомил временное правительство с нашими «тайными» договорами, ничего не могло быть искреннее, непосредственнее и наивнее негодования Львова. Он характеризовал эти договоры, как разбойничьи и мошенничьи и, кажется, высказывался за немедленный отказ от них. В особенности возмущался он Италией и теми «аннексиями» (тогда еще это слово не стало крылатым), которые она себе выговорила. С такой же непосредственностью он говорил об «идиотах и мерзавцах», заседающих в синоде. Доклады его были проникнуты каким-то почти комическим отчаянием. Несомненно, В. Н. Львов имел не одну положительную черту: он не был политическим интриганом, он всею душою отдавался той задаче, которую себе поставил: оздоровление высшего церковного управления. К несчастью, эта задача была ему решительно не по плечу. Также, как и Годнев, он безропотно уступил свое место, когда оно понадобилось для другого. И несмотря на всю развитую им за пять месяцев пребывания в должности обер-прокурора энергию, я не знаю, оставила ли его деятельность хоть какие-нибудь следы в «ведомстве православного исповедания».

Я уже упомянул о том, какой неожиданностью для меня было появление на посту министра финансов М. И. Терещенко. Сперва я даже не хотел верить, что дело идет о том самом блестящем молодом человеке, который несколько лет до того появился на петербургском горизонте, проник в театральные сферы, стал из-

вестен, как страстный меломан и покровитель искусства, а сначала войны, благодаря своему колоссальному богатству и связям, сделался видным деятелем в Красном Кресте. Позднее, я знал, он стал во главе киевского военно-промышленного комитета и на каком-то с'езде, бывшем в Петербурге, произнес речь, которую можно характеризовать как речь «кающегося капиталиста». Это было единственным его общественным выступлением, о котором я знал. Я не знал, что он был в довольно, повидимому, тесных отношениях с Гучковым и с Некрасовым и пользовался расположением Родзянко. До сих пор я точно не знаю, кто выставил его кандидатуру. Я слышал, что он от нее упорно отказывался. В настоящее время о нем сохранилось воспоминание главным образом, как о министре иностранных дел, пробывшем на этом посту в течение шести месяцев, с начала мая по конец октября, когда свергнуто было временное правительство. Как министр финансов, он—за два месяца пребывания в этой должности,—кажется, не оставил сколько-нибудь заметного следа. Занят он был главным образом выпуском знаменитого займа свободы. Я помню, что когда ему приходилось докладывать временному правительству, его доклады были всегда очень ясными, не растянутыми, а, напротив, сжатыми, и прекрасно изложенными. По существу я не берусь судить о его качествах, как министра финансов. Он отлично схватывал внешнюю сторону вещей, умел ориентироваться, умел говорить с людьми—и говорить именно то, что должно было быть приятно его собеседнику и соответствовать взглядам последнего. В своей деятельности, как министр иностранных дел, он задался целью следовать политике Милюкова, но так, чтобы Совет Рабочих Депутатов ему не мешал. Он хотел всех надуть—и одно время это ему

удавалось... В сентябре 1917 года социалисты в нем разочаровались и ничего больше от него не ждали, а Суханов-Гиммер на страницах «Новой Жизни» уже значительно раньше начал против него кампанию. В июле и августе он, вместе с Некрасовым и Керенским, составлял триумвират, направлявший всю политику временного правительства,—и в этом качестве он несет ответственность за слабость, двуличность, беспринципность и бесплодность этой политики, вечно лавировавшей, вечно искавшей компромисса тогда, когда выход из положения мог заключаться только в отказе от компромисса, в решительности и определенности. В октябре—главным образом со времени образования «совета российской республики»—Терещенко демонстративно порвал с социалистами. Я был нечаянным свидетелем его бурного об'яснения с Керенским и его настояний, чтобы временное правительство освободило его от портфеля министра иностранных дел, при чем он указывал на меня, как на своего преемника. Но все это было слишком поздно. М. И. Терещенко постигла печальная судьба. Он хотел завоевать общие симпатии, общее расположение. Между тем он нигде, решительно ни в каком общественном круге, ни в какой политической группе не пустил прочных корней, никто им не дорожил, никто не ставил его высоко. Ce n'était pas un caractère. Замечательно при этом, что дипломатические представители союзников относились к Терещенко с гораздо большими симпатиями, чем к Милюкову. Его souplesse, самая его светскость, отсутствие у него твердых убеждений, продуманного плана, полный его диллетантизм в вопросах внешней политики,—все это делало из него, при данных обстоятельствах, человека, чрезвычайно удобного для разговоров. А за все время

существования временного правительства вся наша международная политика ограничивалась разговорами.

К концу существования временного правительства, после ухода из его состава Н. В. Некрасова, Терещенко воспылал ненавистью к социалистам. Он переменил фронт. Я имею основание думать, что на такую перемену настроения повлияла корниловская история. Я не знаю, как держался Терещенко в то время, когда развивалась самая история, но его очень потрясло самоубийство Крымова, с которым он был в дружеских отношениях. Травля, поднятая против Корнилова всем «социалистическим фронтом», была для него очень тяжела и неприятна, возмущала его: об этом он мне сам говорил. На этой почве, я думаю, произошло и некоторое охлаждение между ним и Керенским. В то же самое время он до самого конца верил,—или хотел верить—в возможность возрождения армии и восстановления флота. На эту тему я говорил с ним в сентябре или октябре 1917 года. Он категорически утверждал, что Алексеев к весне 1918 года может подготовить новую армию. Когда последний военный министр временного правительства, ген. Верховский, прямо заявил в военной комиссии совета республики, что Россия больше воевать не может, Терещенко реагировал на это заявление очень резко. Его столкновение с Верховским в заседании комиссии было одним из самых памятных эпизодов последних дней жизни временного правительства.

Увы, приходится признать, что по существу Верховский был прав...

Резюмируя свое мнение о Терещенко, я сказал бы, что при всех его выдающихся способностях и несомненной bonne volonté, он не был и не мог быть на высоте политической задачи, выпавшей на его долю. Роль

его была для него столь же не по плечу, как и для большинства прочих министров. Столь же мало, как они, мог он «спасти Россию». А в марте-октябре 1917 года Россию приходилось спасать в самом буквальном смысле слова.

К числу мало знакомых мне членов временного правительства принадлежал, наконец, и А. М. Коновалов— министр торговли и промышленности. Я в первый раз с ним встретился в Таврическом дворце, в первые же дни революции, и наблюдал его в течение тех двух месяцев, что я состоял в должности управляющего делами временного правительства. Затем я его совсем потерял из виду и встретился с ним вторично уже при временном правительстве последней формации, в котором он был заместителем председателя.

Вот человек, о котором я, с точки зрения личной оценки, не мог бы сказать ни одного слова в сколько-нибудь отрицательном смысле. И на посту министра торговли, и позднее, когда—к своему несчастью—он счел долгом патриотизма согласиться на настояния Керенского и вступил вновь в кабинет,—притом, в очень ответственной и очень тягостной роли заместителя Керенского,—он неизменно был мучеником, он глубоко страдал. Я думаю, он ни минуты не верил в возможность благополучного выхода из положения. Как министр промышленности, он ближе и яснее видел катастрофический ход нашей хозяйственной разрухи. Впоследствии, как заместитель председателя, он столкнулся со всеми отрицательными сторонами характера Керенского. Вместе с тем Коновалов в октябре 1917 г. уже совершенно отчетливо сознавал, что война для России кончена. Когда—в это именно время (даже раньше, в сентябре, но уже после образования последнего кабинета) в квартире кн. Григория Николаевича

Трубецкого (на Сергиевской, в доме Вейнера,—там, где мы жили в 1906—1907 году, зимой) собралось совещание, в котором участвовали Нератов, бар. Нольде, Родзянко, Савич, Маклаков, М. Стахович, Струве, Третьяков, Коновалов и я (кажется, я перечислил всех; Милюкова не было, он в это время был в Крыму, куда уехал после корниловской истории), для обсуждения вопроса о том, возможно ли и следует ли ориентировать дальнейшую политику России в сторону всеобщего мира, Коновалов самым решительным образом поддержал точку зрения бар. Нольде, который в подробном, очень глубоком и тонком докладе доказывал необходимость именно такой ориентации. К несчастью, это было все равно уже слишком поздно...

Но это все касается второго периода деятельности Коновалова. В первом составе временного правительства, я не помню, чтобы он играл заметную роль. Чаще всего, мне кажется, он жаловался; жаловался на то, что временное правительство не в достаточной степени занято разрухой промышленности, растущей не по дням, а по часам,—разрухой, в виду безмерно растущих требований рабочих. Красноречивым он никогда не был, он говорил чрезвычайно просто и искренно, так-сказать, бесхитростно, но мне кажется, что раньше всего в его обращениях к временному правительству зазвучали панические ноты. И в частных разговорах он нередко обращался к этим темам, словно искал одобрения и нравственной помощи. Для меня представляется неразрешимой загадкой, как мог А. И. Коновалов пойти вторично во временное правительство, с его председателем Керенским. Повидимому, он счел долгом патриотизма не отказываться и думал, что до учредительного собрания удастся дотянуть. Этот мираж—учредительное собрание—во многих умах тогда

возбуждал совершенно непостижимые надежды. Но о значении идеи учредительного собрания в деятельности временного правительства я буду говорить особо...

В последний раз я виделся с А. И. Коноваловым при трагических обстоятельствах, в день свержения временного правительства, 26 октября. Об этом дне мне также придется говорить в своем месте.

До сих пор я касался характеристики и роли во временном правительстве тех лиц, которые не являлись моими партийными единомышленниками. С некоторыми из них я в этой обстановке познакомился впервые. Теперь мне остается сказать о четырех министрах кадетах: Милюкове, Шингареве, Некрасове, Мануилове, которых я знал давно, хотя личная близость у меня была только с Милюковым.

Меньше всего я знал Мануилова. Это, конечно, об'ясняется тем, что Мануилов—москвич, в заседаниях центрального комитета он никогда не принимал особенно деятельного участия, а вне этих заседаний я почти с ним не встречался. Должен сказать, что и за два месяца моего участия в делах временного правительства Мануилов все время оставался в тени. Он очень редко, почти никогда не принимал участия в страстных политических прениях, происходивших в закрытых заседаниях. Я припоминаю, что по отношению к основной контроверзе, возникшей в первый же месяц,—по вопросу внешней политики, отношения к целям войны,—Мануилов очень вяло поддерживал Милюкова,—я бы сказал даже, что фактической поддержки вовсе и не было. С другой стороны, Мануилов как-то скорее других проникся безнадежностью в отношении деятельности временного правительства вообще и чаще и раньше других говорил о необходимости ухода временного правительства, в виду невозможных условий работы, созда-

ваемых контролем и постоянной помехой со стороны Совета Рабочих Депутатов. Специальная его деятельность в качестве министра народного просвещения не отличалась той авторитетностью, которой можно было от него ожидать. Очень возможно, что это была не его вина,—не вина его личных качеств. При других, более нормальных условиях, эти качества сделали бы из него образцового министра просвещения, так как не может быть сомнения ни в его широких взглядах, ни в его больших знаниях, ни в общих положительных сторонах его, как политика и администратора. Но, по существу, он не был боевой натурой, борцом. Он и раньше главным методом борьбы избирал—подачу в отставку. Это, может быть, было правильно при Кассо, но здесь, в данный момент, требовалось что-то другое. Мануйлов, быть может, оказался бы вполне подходящим на посту министра земледелия;—хотя мне представляется, что он вообще не подходил, по своему темпераменту, по настроению, к данному революционному моменту. Он не импонировал никому. И вместе с тем, его уравновешенной натуре духовного европейца глубоко претила та атмосфера безудержного демагогического радикализма, в которой орудовали всякие Чарнолусские. Помню его отчаяние во время учительского с'езда. Именно в области народного просвещения зловещие стороны нашего радикализма-якобинства выразились особенно рельефно. Среди других министров, Мануилов имел исключительно «дурную прессу». На него нападали и справа, и слева: справа—за бездеятельность и апатию перед растущей революционной волной, за реформу орфографии (в которой он, как известно, был непричем: это безобразие лежит на совести Академии наук). Слева его обвиняли в бюрократизме, в сохранении канцелярской рутины, в призыве деятелей старого режима. Осо-

бенное раздражение вызвало назначение Герасимова. Мануйлов не умел отбиваться и огрызаться. Он приходил в уныние и отчаяние. В сущности говоря, он, быть может, был вполне прав, признавая положение безнадежным. Но и в этом случае ему следовало действовать иначе: решительнее,—я бы сказал—демонстративнее. При всех своих достоинствах, он остался какой-то тусклой фигурой, и, если все приветствовали его назначение, то уход его и замена С. Ф. Ольденбургом не только не вызвали ни с чьей стороны сожаления, но даже в симпатизирующих ему кругах оценивались скорее положительно, чем отрицательно.

Труднее всего мне говорить о Некрасове. Я уже упоминал, в начале моих записок, что, вследствие моего продолжительного отсутствия в центральном комитете, я был очень плохо осведомлен насчет создавшихся там (и в Государственной думе) личных взаимоотношений. Только значительно позднее моего вступления в должность управляющего делами временного правительства я имел беседу с А. И. Шингаревым, который раскрыл мне глаза. Он рассказал мне про ту «подземную войну», которую издавна вел Некрасов против Милюкова. Я тогда только понял многое в поведении Некрасова, которого я до того, по старой памяти, считал одним из самых преданных Милюкову друзей. Но все-таки для меня оставалось неясным, к чему стремится Некрасов. Однако, с каждым днем все яснее обозначался уклон Некрасова в сторону социалистов, приближение его к Керенскому, на которого он приобретал все большее и большее влияние и с которым все чаще и чаще пел в унисон. Я все-таки недостаточно близко знаю Некрасова, чтобы с уверенностью судить о нем, но я боюсь, что в течение своего пребывания у власти он прежде всего, больше всего руководим был побуждениями че-

столюбия. Он стремился играть первую роль,—и он достиг цели, но лишь для того, чтобы вдохновить постыдное поведение Керенского в деле Корнилова и затем сойти со сцены с поврежденной политической репутацией, оставленный всеми прежними друзьями (даже таким преданным и близким, как И. П. Демидов), с кличкой «злого гения русской революции». А между тем Некрасов, по моему глубокому убеждению,—один из немногих крупных людей, выдвинувшихся на политической арене за последние годы. У него огромные деловые способности, умение ориентироваться, широкий кругозор, практическая сметка. Человек умный, хитрый, красноречивый, он умеет казаться искренним и простодушным, когда это нужно. Но, очевидно, этические его свойства (говорю, разумеется, не о личных, а об общественно-политических) не находятся на высоте его интеллектуальных качеств. Я охотно верю, что в конце концов он стремился к победе тех идей, которые об'единяли его с товарищами по партии. Но для этого он избрал путь необычайно извилистый и в конце концов зашел в тупик. Мне представляется, что в данный момент (1918 год) он должен быть одним из несчастнейших людей и что его политическая карьера завершилась окончательно. Доверия он ни в ком больше не вызовет, а доверие есть, как ни как, абсолютно необходимое условие для политического деятеля. Раз проявленная двуличность никогда не забывается. Некрасов оставил именно впечатление двуличности,—маски, скрывающей подлинное лицо, и это особенно чувствуется потому, что все его внешние приемы подкупают своим видимым добродушием. «Faux bonhômme»—как выражаются метко французы —пожалуй, самая неприятная разновидность человека вообще, политического деятеля в частности.

В конце концов, если иметь в виду, что кадетский элемент в составе временного правительства олицетворялся прежде всего Милюковым, приходится сказать, что только один Шингарев был безусловно, всей душой и до конца, поддержкой и помощью лидера партии.

Когда я пишу эти строки, прошло уже более полугода со дня трагической смерти Шингарева, а все же как-то трудно, даже в этих записках с полной свободой говорить о покойном. Слишком крупной ценой заплатил он за подвиг своей жизни. Но все же я постараюсь и здесь писать всю правду, как она мне представляется. А правда эта заключается в том, что Шингарев всю свою жизнь оставался по существу тем, чем он должен был бы остаться при более нормальных условиях: русским провинциальным интеллигентом, представителем третьего элемента, очень способным, очень трудолюбивым, с горячим сердцем и высоким строем души, с кристалльно-чистыми побуждениями, чрезвычайно обаятельным и симпатичным, как человек, но в конце концов, «рассчитанным» не на государственный, а на губернский или уездный масштаб. Совершенно случайно он сделался финансистом. Благодаря своему таланту и трудолюбию, он в этой области настолько освоился, что мог удачно выступать на думской трибуне в оппозиционном направлении и одерживать победы. Но настоящим знатокам—теоретикам и практикам—он совершенно не мог импонировать. Слишком очевиден был его диллентантизм, слабая подготовка, ограниченный кругозор. Благодаря личным своим качествам, своей удивительной привлекательности, он в Думе был одним из самых популярных, самых любимых депутатов. Пресса с ним носилась. Правительство очень с ним считалось. Масса народу по тем или другим причинам к нему обращалась ежедневно. В партии его популярность была

огромна. Если она уступала популярности Милюкова, то разве только в том смысле, что Милюков ставился, выше, как умственная величина, как духовный вождь и руководитель, как государственный человек,—но Шингарева больше любили, особенно в провинции, где его выступления—доклады, лекции—всегда пользовались исключительным успехом. Средние круги чувствовали больше свою духовную связь с Шингаревым, чем с Милюковым. Он был им ближе, казался более *своим*. Как оратор, Шингарев уступал, разумеется, и Маклакову, и Родичеву (когда Ф. И. в ударе). Сила в нем чувствовалась очень редко. Образности, яркости в его речах не найти. Приковывать внимание, ударять по сердцам, потрясать—он совершенно не мог. Вместе с тем, в этих речах—всегда к тому же, очень многословных—не чувствовался тот огромный запас идей и знаний, который так явственно ощущался у Милюкова. Он не очаровывал, как Маклаков, не волновал и не натягивал нервов, как Родичев. Но он говорил легко и свободно, ход его мыслей всегда был очень ясен и доступен, нередко его полемика бывала находчивой и остроумной, манера и голос очень подкупали. Если его можно было без всякого сожаления перестать слушать, то почти никогда не приходилось чувствовать, что его и не стоило слушать. Достоевский говорит в «Бесах», что ни одного оратора нельзя слушать больше 20 минут. Для нашей провинциальной публики это совершенно неверно. Она любит многословие и принимает испытываемую ею скуку за доказательство серьезности и ценности речи или лекций. Недаром пользовались всегда в провинции огромным успехом такие серые бездарности, как Гредескул.

К концу четвертой думы авторитет Шингарева стоял очень высоко. И для всякого об'ективного наблюдате-

ля был ясен рост его самомнения и самоуверенности, в особенности после заграничной поездки членов думы, весною 1916 года. Чувствовалось, что у Шингарева слегка кружилась голова от той высоты, на которую его, скромного земского врача, вознесла не случайная удача, не чужая рука, а его собственная работа. Без Государственной думы Шингарев прожил бы честную и чистую жизнь интеллигентного местного деятеля, самоотверженного труженика. Государственная дума выдвинула его в первые ряды и подготовила всех к тому, что Шингарев явился одним из бесспорнейших кандидатов на министерский портфель, как только старая бюрократия пала. И здесь он сразу утонул в море непомерной, недоступной силам одного человека работы. Он мало кому доверял, мало на кого полагался. Он хотел сам во все входить, а это было физически невозможно. Он работал, вероятно, 15—18 часов в день, сразу переутомился, и как-то очень скоро потерял бодрость и жизнерадостность. В заседаниях временного правительства он выступал очень много, но здесь-то именно и оказались недостаточными его силы. Он и в этих заседаниях чувствовал себя на трибуне Государственной думы, говорил длительно, страшно многоречиво, утомлялся сам и утомлял других до крайности. При этом нельзя было обидеть его ничем больше, как словами: «Андрей Иваныч, нельзя ли покороче». Он в этих случаях отвечал: «Я могу и совсем не говорить», тем самым заставляя упрашивать себя... К Керенскому, ко всему социалистическому болоту он относился отрицательно и враждебно, но не только не мог энергически с ними бороться, а наоборот, такими мероприятиями, как создание земельных комитетов и передача им необрабатываемых помещичьих земель, а также (уже на посту министра финансов) ничем неоправдываемым

и ни с чем несообразным повышением ставок подоходного налога, он играл в руку социалистам, наживая себе непримиримых врагов в среде земельных собственников и имущих классов вообще. Своему закону о введении хлебной монополии он сам плохо верил. Кстати сказать, установленные в этом законе цены вплоть до последней минуты беспрестанно менялись. Кажется, в конце концов пришлось на многие из них махнуть рукой. По вопросам общеполитическим и внешней политики Шингарев был неизменно на стороне Милюкова, но я не припоминаю каких-либо сильных или ярких его выступлений. После своего окончательного ухода из состава временного правительства, Шингарев стал чрезвычайно раздражительным, желчным,—я бы сказал—озлобленным. В центральном комитете было трудно с ним спорить, так как всякое возражение воспринималось им очень болезненно, словно нечто, лично против него направленное. Он говорил порою чрезвычайно резко. Личные несчастья (смерть жены), постигшие его в этот период времени, надо думать, сильно потрясли его и без того измученные нервы. Он стал тяжелым, и лишь по отношению к немногим (ко мне в том числе) он сохранил вполне и прежнюю манеру, и прежнее обращение. Н. И. Лазаревский рассказывал мне, что с Шингаревым было очень трудно работать. Он—по словам Н. И.—был необыкновенно подозрителен и недоверчив по отношению ко всем тем, кто его окружал, за исключением небольшого кружка близких ему лиц, лично им избранных.

Как мне уже, кажется, пришлось выше сказать, несомненно, что во временном правительстве первого состава самой крупной величиной—умственной и политической—был Милюков. Его я считаю, вообще, одним

из самых замечательных русских людей и хотел бы попытаться дать ему более подробную характеристику.

Мне много и часто приходилось слушать Милюкова: в центральном комитете, на партийных с'ездах и собраниях, на митингах и публичных лекциях, в государственных учреждениях. Его свойства, как оратора, тесно связаны с основными чертами его духовной личности. Удачнее всего он бывает тогда, когда приходится вести полемический анализ того или другого положения. Он хорошо владеет иронией и сарказмом. Своими великолепными схемами, подкупающими логичностью и ясностью, он может раздавить противника. На митингах, ораторам враждебных партий никогда не удавалось смутить его, заставить растеряться. О внешней форме своей речи он мало заботится. В ней нет образности, пластической красоты. Но в ней никогда нет того, что французы называют du remplissage. Если он и в речах, и в писаниях бывает многословен, то это только потому, что ему необходимо с исчерпывающей полнотой высказать свою мысль. И тут также сказывается его полное пренебрежение к внешней обстановке, соединенное с редкой неутомимостью. В поздние ночные часы, после целого дня жарких прений, когда доходит до него очередь, он неторопливо и методически начинает свою речь, и тотчас же для него исчезают все побочные соображения: ему нет дела до утомления слушателей, он не обращает внимания на то обстоятельство, что они, быть может, просто не в состоянии следить за течением его мысли. И в газетных своих статьях ему также нет дела до соображений чисто журналистических. Если ему нужно 200 строк, он напишет 200 строк, но если в них не уместится его мысль и его аргументация, ему совершенно будет безразлич-

но, что передовая статья растянется на три газетных столбца.

И Милюков, как и многие другие, живет и жил в крайне неблагоприятный для его личных дарований исторический момент. Волею судеб Милюков оказался у власти в такое время, когда прежде всего необходима была сильная, не колеблющаяся и не отступающая перед самыми решительными действиями власть,—когда требовалась высшая степень единства и солидарности членов правительства, полное их доверие друг к другу. Он очутился во главе ведомства, делающего иностранную политику, при чем во взглядах на предпосылки этой политики существовало глубокое разногласие между Милюковым и тем течением, которое олицетворялось в Керенском. Керенский в моем присутствии причислял себя, если не прямо к циммервальдцам, то, во всяком случае, к элементам, духовно очень близким Циммервальду. Милюков и в прессе, и с трибуны Государственной думы, с самого начала вел упорную борьбу с Циммервальдом. Он был абсолютно чужд и враждебен идее мира без аннексий и контрибуций. Он считал, что было бы и нелепо и просто преступно с нашей стороны отказаться от «самого крупного приза войны» (так Грей называл Константинополь и проливы) во имя гуманитарно-космополитических идей интернационального социализма. А главное—он верил, что этот приз действительно не вышел из наших рук. Это находится в связи с общими его взглядами на значение революции для войны. Здесь—самый ключ к пережитой Россией трагедией.

Хорошо известно, как относился Милюков к угрозе надвигающейся войны в июне и июле 1914 года. Он писал о ней, как о грозной и страшной опасности, чреватой огромными бедствиями. Конечно, ни он, ни

кто другой из политических деятелей не отдавал и не мог себе отдавать отчета в том, во что Европу превратит война—и что она сделает с Россией. И, прежде всего, ни один человек на свете не поверил бы, если бы ему сказали в 1914 году, что тогдашние тринадцатилетние дети окажутся участниками войны,—что через четыре года она будет в полном разгаре и что к этому времени будет мало надежды на сколько-нибудь близкий ее конец. Но все же Милюков хорошо сознавал, во-первых, какой страшный риск сопряжен для России с объявлением европейской войны, и, во-вторых—как трудно ожидать, чтобы «историческая власть», оказавшаяся столь безнадежно и безгранично бездарной и несостоятельной в деле мирного управления Россией, могла вырасти до высоты той задачи, которая ей выпадала. Поэтому, в ряде статей в «Речи», он со всею силою убеждения призывал к хладнокровию и самообладанию, к умеренности. Хорошо также известно, с какой злобой тогда на него обрушилась наша воинствующая националистическая пресса с «Новым Временем» во главе. Речь шла о «заступничестве за Сербию» и, так как Милюков считался болгарофилом, а следовательно—сербофобом, то в его выступлениях усмотрели—или им приписали—враждебное отношение к «маленькой Сербии» и равнодушие к международному престижу России. Поднялась бешеная травля, имевшая результатотм закрытие «Речи» (правда кратковременное) в день объявления войны. Война началась,—и сразу же Милюков занял по отношению к ней совершенно определенное положение. И в Госуд Думе, и в партии, и на страницах «Речи» он повел энергичнейшую кампанию в направлении поднятия военного энтузиазма. Лозунг «война до победного конца» относится к позднейшему времени, но корни его доходят до самых первых дней

войны. Когда выяснилось, что Англия присоединяется к Франции и России, убеждение в возможности быстрого окончания войны и разгрома Германии стало положительно господствующим. Я живо помню, как в августе или сентябре гр. П. Н. Игнатьев (давний мой друг, с которых я в студенческие годы был очень близок), встреченный мною за обедом в ресторане, совершенно серьезно и, повидимому, сам вполне веря в осуществимость этого плана, рассказывал мне, что Ренненкампф идет прямо на Берлин, обходя крепости и оставляя заслоны, и что он ручается головой, что через два месяца будет в Берлине. Я также помню, как я впервые из Старой Руссы, где формировалась моя дружина, писал А. И. Каминке о том, что я с каждым днем убеждаюсь в огромности начатого предприятия и в невозможности сколько-нибудь скорого его осуществления. Но первые наши успехи в Восточной Пруссии, а затем и в Галиции, очень укрепили наши надежды,—и только страшные неожиданности второй половины зимы 1914—1915 года обнаружили, как легковесны они были. Вместе с тем, резко изменилась тактика Государственной думы в отношении правительства. Mot d'ordre'ом осени 1914 года была поддержка кабинета, нечто вроде французского «Union Sacre». Но в конце 1915 года обнаружилось, что поддерживать Сухомлинова, Маклакова и Щегловитова—значит вести Россию сознательно к поражению и к катастрофе. И началась борьба. Ход и перипетии этой борьбы известны. Известна и роль, которую играл в ней Милюков, и вот тут с самого начала и сказалось то трагическое недоразумение, которое отразилось на всем течении русской революции и привело к гибели России.

Во имя чего велась борьба? Очевидно, прежде всего и, так сказать, ex professo—во имя создания в

России такого правительства, которое было бы способно исправить уже сделанные ошибки и заблуждения, и успешно организовать снабжение и пополнение армии. Другими словами, борьба имела целью поставить такую власть, которая бы лучше, умелее воевала. Между тем, все правительственные перемещения приобретали все более и более характер какой-то безумной министерской чехарды. Люди приличные и дельные, вроде кн. Щербатова или Поливанова, недолго пробыли на своих постах. На их места назначались либо такие несостоятельные бездарности, как ген. Шуваев, либо прямо зловещие фигуры, вроде Алексея Хвостова, а впоследствии Штюрмера. Чувствовалось дыхание безумия и смерти. За кулисами орудовали Распутин, кн. Андронников и другие проходимцы. Царь, с самого начала войны и до катастрофы, постигшей его в первые дни марта 1917 г., абсолютно не отдавал себе отчета в роковом значении развертывающихся событий. Те, кто пережил в Петербурге зимы 1915—1916 и 1916—1917 г.г., хорошо помнят, как с каждым днем наростало сознание какой-то неизбежной катастрофы. Мне передавали, что еще в 1914 г., в заседании центрального комитета партии к.-д., немедленно после начала войны (я в это время уже был в Старой Руссе), Родичев воскликнул: «Да неужели вы думаете, что с этими дураками можно победить». Постепенно выяснилось, что безумие нашей внутренней политики, тот дух безответственного авантюризма, полное пренебрежение к интересам родины, которым веяло вокруг трона, вполне отчужденного от всей страны, занятого слабым, ничтожным, двуличным человеком,—все это должно было повести либо к необходимости заключить сепаратный мир, либо к перевороту. И передовое русское общественное мнение, давно изверившееся в Николае II, постепенно пришло к созна-

нию, что, как красноречиво выразился Кокошкин в своей речи о республике и монархии, нельзя одновременно быть с царем и быть с Россией,—что быть с царем, значит быть против России.

1 ноября 1916 года Милюков произнес свою знаменитую речь на тему: «Глупость или измена?» Направленная непосредственно против Штюрмера, речь эта метила, однако, гораздо выше. Имя императрицы Александры Феодоровны в ней прямо упоминалось. Все помнят, какое она произвела огромное впечатление, но не все, вероятно, отдавали себе отчет в ее будущих последствиях. Только гораздо позже, уже после переворота, стало ходячим, особенно в устах друзей Милюкова, утверждение, что с речи 1 ноября следует датировать начало русской революции. Сам Милюков, я думаю, смотрел на дело иначе. Он боролся за министерство общественного доверия, за изолирование и обессиление царя (раз выяснилось, что ни в каком случае и ни при каких условиях царь не может стать положительным фактором в управлении страною и в деле ведения войны), за возможность активного и ответственного участия творческих сил в государственной работе. Думаю, что в течение зимы 1916—1917 г.г. для него выяснилась необходимость более решительного переворота собственно в отношении Николая II. Но я полагаю, что он, как и многие другие, представлял себе скорее нечто в роде наших дворцовых переворотов XVIII века и не отдавал себе отчета в глубине будущих потрясений. С другой стороны, основная позиция Милюкова по отношению к войне становилась все более и более решительной, все теснее связывалась с позицией союзников, в частности Англии, и делалась все непримиримее в отношении Германии. Я хорошо помню, какое впечатление произвел он на меня и на

некоторых близких людей, собравшихся за обедом у И. В. Гессена в тот день, когда телеграф принес известие о первых германских мирных предложениях. Для нас это было фактом потрясающего значения, прежде всего потому, что в нем блеснул луч слабой и очень отдаленной, но все же—надежды на возможность мира. С такой стороны мы прежде всего и оценивали этот факт. Милюков сразу и решительно облил нас ледяной водой. Спокойно и даже весело он заявил, что германские предложения имеют значение только постолько, посколько они свидетельствуют о тяжелом положении Германии,—что в этом только смысле их следует понимать и приветствовать, но что единственное возможное реагирование на них—это категорическое и возможно более резкое их отклонение. Очевидно, только глубочайшая вера в «победный конец» и в возможность для России вести войну до такого конца, с тем, чтобы воспользоваться его плодами, диктовали Милюкову такое отношение. Сам Милюков недавно в одном письме назвал то настроение, которое владеет руководящими кругами в Европе, «военным азартом». Я думаю, что этот азарт лежит в основе всей международной политики с начала войны. Вступление в нее Италии, потом Румынии, а, позднее всех—Америки, диктовалось не какими-либо правильно понятыми и законными национальными интересами, а тем менее какими-либо соображениями или побуждениями политической этики, а всецело азартом, развивающимся в душе того, кто присутствует при огромной игре с колоссальными ставками и знает, что от него зависит принять участие в этой игре, тем самым обеспечивая себе участие в будущем дележе добычи. Известные договоры с Италией и Румынией иного значения, как договоров о дележе добычи, не имеют. Конечно, к этой добыче стремились

во имя национальных, а не каких-либо личных интересов. Конечно, и Милюков, ухватившийся и до самого конца цепко державшийся за обещание Константинополя и проливов, думал только о благе России. Но в конце концов все завоевательные стремления точно так же могут быть оправдываемы ссылкой на заботу о благе страны. Подлинное отношение Милюкова к войне гораздо ближе всегда было к Romain Rolland, чем к Barrés и Action française. Тот круг идей и настроений, который владел Милюковым в годы 1914—1917, был лишь поверхностной накипью, он даже ощущался Милюковым, как нечто ему чуждое, и выход из этого круга идей и настроений должен был ощущаться им как «духовное» освобождение. Как я себе представляю, это освобождение состоит в возвращении к об'ективным критериям, соответствующим не той или другой ближайшей цели практической политики, а основным идеям справедливости, гуманности, отрицания крови и насилия.

Как бы ни было, из того, что сказано в предшествующих строках, уже вытекает с полной очевидностью неизбежность будущих конфликтов, как в среде самого временного правительства, так и между ним и окружавшими его элементами, наиболее причастными к революционному движению в тесном смысле слова. Самой влиятельной фигурой в составе временного правительства оказался «заложник демократии»—Керенский. Если бы кому-нибудь пришло в голову, в день образования временного правительства назвать Керенского военным министром, то, я думаю, сам Керенский, несмотря на свой безграничный апломб, смутился бы. А все другие приняли бы такое предложение за насмешку, за глупую шутку. Между тем, через два месяца Керенский оказался «провиденциальным» военным ми-

нистром. В еще большей степени это приходится сказать о верховном главнокомандующем. Я помню продолжительное заседание в Мариинском дворце, посвященное обсуждению и решению вопроса о том, кого следует назначить на эту должность—Алексеева (в то время бывшего начальником штаба верховного главнокомандующего) или Брусилова. За последнего особенно стоял Родзянко. Я представляю себе, какой эффект произвело бы, при этих условиях, предложение кандидатуры Керенского. И оно, наверно, сочтено бы было просто за шутку дурного тона. И оно, опять-таки, осуществилось несколько месяцев спустя. Мне кажется, нет лучшего критерия степени стремительности в деле возобновления идей Циммервальда и связанного с ним разрушения нашей армии, как эти два назначения. Но, в сущности говоря, зачатки будущего разложения уже заключались в том факте, что основной вопрос—отношение к войне—был, при составлении временного правительства, обойден: иначе, как допустить, что в рядах его вместе с Милюковым оказался Керенский, взгляды которого достаточно были известны из его речей в Государственной думе.

Нужно заметить, что в первые дни и даже недели существования временного правительства вопросы внешней политики, связанные с войной, как-то совсем не выдвигались. Оставалось нераскрытым глубокое внутреннее противоречие, заключавшееся в том, что переворот, будучи фактически результатом военного бунта, по существу должен был повести к разрушению дисциплины и разложению сперва в Петербургском гарнизоне, а затем, по мере того, как этот гарнизон становился питомником большевизма, очагом заразы,—разложение должно было проникнуть и дальше; между тем, по официальной идеологии, революция должна была

поднять нашу военную силу, так как отныне войска боролись не за ненавистный самодержавный строй, а за освобожденную Россию. Известно, что в первое время многие наивные люди думали (и даже писали в газетах), будто Германия очень была смущена патриотическим порывом русской революции; она-де сперва возложила на эту революцию большие надежды, но теперь должна убедиться, что «сознательная» русская армия, завоевавшая себе свободу, будет для нее гораздо страшнее... и т. д. Не знаю, верил ли кто в самом деле этому вздору, но, повторяю, он был не только развиваем на страницах газет, но многократно и настойчиво преподносился официально (например, при приемах послов, а также многочисленных военных депутаций, которые стали являться в конце марта). А между тем незаметно и помаленьку начался подкоп против лозунга «войны до победного конца», во имя другого—«мира без аннексий и контрибуций». Постепенно начались в составе временного правительства жалобы на то, что Милюков ведет какую-то свою международную политику и ведет ее совершенно самостоятельно. Начало обнаруживаться внутреннее расхождение, но на первых порах довольно неясно и нерешительно. Если я не ошибаюсь, впервые вопрос был поставлен резко после появления в печати беседы с Милюковым по вопросу о задачах войны (в № от 23 марта «Речи»), за неделю, приблизительно, было опубликовано пресловутое воззвание Совета Рабочих и Солдатских Депутатов к народам всего мира (от 14 марта), в котором впервые показала свое истинное лицо группа вожаков Исполнительного Комитета. Ничего, конечно, нельзя себе представить более противоположного друг другу, чем эти два документа. Не знаю, под влиянием ли своих друзей, или непосредственно—Керенский был приведен

опубликованием беседы с Милюковым в состояние большого возмущения. Кажется, он только-что вернулся из Москвы. Я живо помню, как он принес с собой в заседание номер «Речи» и—до прихода Милюкова,—по свойственной ему манере, неестественно похохатывая, стуча пальцами по газете, приговаривал: «Ну, нет, этот номер не пройдет». Когда вопрос был поставлен, Милюков заявил, что его беседа появилась в противовес интервью с Керенским, напечатанным, если не ошибаюсь, в московских газетах. Не помню, в этом ли именно или в другом, близком по времени, совещании, Керенский в очень резкой форме доказывал Милюкову, что если при «царизме» (одно из гнусных выражений революционного жаргона, чуждого духу русского языка) у министра иностранных дел не могло и не должно было быть своей политики, а была политика императора, то и теперь у министра иностранных дел не может быть своей политики, а есть только политика временного правительства. «Мы для вас—государь император». Милюков, внешне хладнокровно, но внутренно сильно возбужденный, на это ответил приблизительно так: «Я и считал, и считаю, что та политика, которую я провожу,—она и есть политика временного правительства. Если я ошибаюсь, пусть это мне будет прямо сказано. Я требую определенного ответа и в зависимости от этого ответа буду знать, что мне дальше делать». Здесь был прямой и решительный вызов, и на этот раз Керенский спасовал. Устами кн. Львова временное правительство удостоверило, что Милюков ведет не свою самостоятельную политику, а ту, которая соответствует взгляду и планам временного правительства. Выход из получившегося неловкого положения был найден в том, чтобы принять за правило—не давать на будущее время никаких отдельных политиче-

ских интервью. В то же самое время было выражено пожелание, чтобы Милюков возможно скорее сделал временному правительству подробный доклад с целью полного его ознакомления с международным положением во всех его деталях и, прежде всего, со всеми знаменитыми «тайными договорами». Это было сделано уже в первой половине апреля, но еще до того, в конце марта, опубликована была декларация временного правительства по вопросу о задачах войны.

Инициатива этой декларации исходила от Церетелли. Примерно в середине марта он вернулся из ссылки и в начале 20-х чисел появился в контактной комиссии, заменив Стеклова. Он с особенной настойчивостью, с самого начала,—вероятно, в первом же заседании, в котором он участвовал, стал проводить мысль, что нужно, не теряя времени, обратиться к армии, к населению, с торжественным заявлением, заключающим в себе, во-первых, решительный разрыв с империалистическими стремлениями и, во-вторых, обязательно безотлагательно предпринять шаги, направленные к достижению всеобщего мира. Он доказывал, что если временное правительство сделает такую декларацию, последует небывалый под'ем духа в армии, что ему и его единомышленникам можно будет тогда с полной верой и с несомненным успехом приступить к сплачиванию армии вокруг временного правительства, которое сразу приобретет огромную нравственную силу. «Скажите это», говорил он, «и за вами все пойдут, как один человек». Я помню, что тогда еще его тон и манера действовали подкупающе. В них ощущалось страстное, подлинное убеждение. В своих выражениях Милюков главным образом касался второго пункта и доказывал совершенную недопустимость и в лучшем случае бесплодность обращения, при данных условиях к союзникам с какими-либо

разговорами о мире. Церетелли настаивал, при чем несколько комическое впечатление производили его уверения, что если только основная мысль, директива будет признана, Милюков сумеет найти те тонкие дипломатические приемы, с помощью которых эта директива осуществится. Но в этом втором пункте Милюков никакой уступки не сделал. Так же решительно он уперся и по вопросу об аннексиях и контрибуциях.

Я теперь себя спрашиваю: не было ли бы лучше, если бы тогда Милюков действительно поставил ультиматум не по поводу только этих злосчастных слов, а в отношении самой мысли в них заключающейся и нашедшей, в конце концов, себе место в декларации, правда, в несколько смягченных и умышленно двусмысленных выражениях. Для меня этот вопрос—ретроспективно—имеет и личное значение. Как и при самом первом моменте, когда грозил уход Милюкова из-за вопроса о Михаиле, так и теперь мне казалось, что этот уход будет иметь роковые последствия с точки зрения международного положения и отношения к нам союзников. Мне казалось, что следует итти, в случае необходимости, даже на самые большие уступки, только для того, чтобы сохранить Милюкова в составе временного правительства. И здесь я считал возможным некоторый маккиавелизм. Я помню, что мы вдвоем с Милюковым обсуждали и исправляли текст декларации за завтраком в «Европейской гостинице», куда мы приехали прямо со с'езда партии народной свободы, открывшегося 25 марта в зрительном зале Михайловского театра. Я убеждал его согласиться на включение тех слов декларации (об'ясняющих, чего не хочет Россия от войны), в которых иносказательно фигурировали «аннексии и контрибуции». Я говорил, что слова эти допускают очень широкое и очень суб'ективное толкование, что,

поскольку в них заключается отказ от завоевательной политики, они соответствуют и нашим взглядам, но что они вовсе не имеют такого значения, которое могло бы связать нас в будущем, на мирной конференции, в случае, если война закончится в пользу нашу. Я помню, что мы несколько раз меняли текст, пока не нашли тех выражений, с которыми, в конце концов, примирился Милюков. В этом примирении оставалась некоторая reservatio mentalis. Но и помимо того, разве, если сравнить последовательные декларации Вильсона, ту, например, которая доказывала, что настоящая война должна окончиться без того, чтобы кто-нибудь победил, с теми, которые инсценировали и сопровождали об'явление войны Америкой, разве в них нет явных противоречий. Думать, что простая правительственная декларация, не имеющая договорного характера, связывает все последующие правительства—разумеется, нельзя. Но и то правительство, которое выпустило данную декларацию, связано ею лишь постолько, поскольку она заключает в себе известные непреложные принципы правительственной политики. Уже давным давно доказано, что такого «принципа»—«без аннексий и контрибуций»—выставить было нельзя, что это принцип двусмысленный и практически не дающий никакого разрешения ряду вопросов. Недаром последующая терминология выработала выражение «дезаннексия». Превращение Дарданелл и Босфора в русский канал, разумеется, трудно было бы совместить с строгим толкованием слов декларации. Но если наступили бы те обстоятельства, при которых стало бы возможным такое превращение, кто бы помнил слова этой декларации и кто бы решился ими аргументировать против России. Другое дело, если бы русское правительство expressis verbis отказалось от тех возможных выгод,

которые были ей обеспечены международными договорами, и заявило бы этот отказ другим договаривающимся сторонам. Но этого не было,—да и не могло быть сделано Милюковым. Сам он на партийном с'езде, последовавшем за его отставкой, вполне искренно и очень убедительно утверждал и доказывал, что он ничего не уступил конкретного и ни в чем не повредил интересам России. Но, с другой стороны, трудно отрицать, что во всей этой позиции было что-то искусственное. Искусственность эта заключалась, впрочем, не в том или другом толковании отдельных выражений декларации, а в том, что по существу была пропасть между отношением к войне и ее задачам Милюкова и тех социалистических групп, которые влияли на Керенского. Я помню случай, когда эта искусственность была как-то особенно подчеркнута, особенно болезненно воспринята. Это произошло несколько дней спустя после приема временным правительством делегации французских и английских социалистов. Речь Милюкова была всецело выдержана в свойственных ему тонах и по сущности своей соответствовала традициям русской иностранной политики во время войны. После Милюкова говорил Керенский. Он говорил по-русски—при чем Милюков переводил его речь на английский язык (а один из французов—с английского на французский). И вот здесь, действительно, ощущалось разительное противоречие,—противоречие в самом духе, в самой отправной точке зрения. Здесь стало ясно, что в самом временном правительстве есть два враждебных друг другу основных течения. И было несомненно, что рано или поздно—скорее рано, чем поздно—искусственная комбинация Керенский—Милюков должна будет разрушиться. И вот здесь я и нахожу ответ на поставленный мною выше вопрос—не было ли бы лучше, если бы Милю-

ков еще раньше декларации 28 марта поставил ультиматум и ушел бы из временного правительства, не дожидаясь событий 20—23 апреля—выступления войск, вызванного нотой министра иностранных дел от 18-го апреля. Я думаю, что по тем же соображениям, по которым Милюкову следовало итти в состав временного правительства, ему следовало в нем оставаться, борясь до конца, в интересах того дела, которому он служил. Революция с самого начала создавала компромиссы, искусственные сочетания. Компромиссным было отношение временного правительства к Совету Рабочих и Солд. Депутатов, компромиссом было и существование в кабинете двух лиц, радикально неспособных итти рука об руку,—Керенского и Милюкова. Эти компромиссы оказались гнилыми и не остановили катастрофического хода русской революции. Но они, при данных условиях, были неизбежны,—отказаться от них для нас, кадетов, означало бы стать на точку зрения «чем хуже, тем лучше» или, во всяком случае, умыть руки. Тем горше сознавали бы мы свою ответственность за дальнейшие события.

В том, что до сих пор мною сказано о роли Милюкова во временном правительстве, я касался только той стороны этой роли, которая связана была с международной политикой. Надо сказать, что в моей памяти, по крайней мере, это остается и наиболее яркой стороной. Я не помню, чтобы Милюков ставил ребром какие-нибудь вопросы внутренней политики, чтобы он требовал каких-нибудь решительных мер. Повидимому, он все-таки полагался больше, чем следовало, и на государственный инстинкт русского народа, и на здравое понимание им своих интересов. Он не понимал, не хотел понимать и не мирился с тем, что трехлетняя война осталась чужда русскому народу, что он ведет ее не-

хотя, из-под палки, не понимая ни значения ее, ни целей,—что он ею утомлен и что в том восторженном сочувствии, с которым была встречена революция, сказалась надежда, что она приведет к скорому окончанию войны. Он не знал, какую благодарную почву найдут в русской армии те ядовитые семена, которые с первых же дней стали открыто в ней сеять безответственные агитаторы. Потому он не проявил решительного, ультимативного противодействия допущению в пределы России пассажиров знаменитого запломбированного вагона. Надо сказать, что по отношению к этим пассажирам у временного правительства были самые глубокие иллюзии. Думали, что уже сам по себе факт «импорта» Ленина и К° германцами должен будет абсолютно дискредитировать их в глазах общественного мнения и воспрепятствовать какому бы то ни было успеху их проповеди. И, действительно, на разных митингах эта тема о «запломбированном вагоне» всегда имела большой успех. Но это не помешало развитию путем «Правды», «Окопной Правды» и ряду других анархических листков самой бешеной и самой разрушительной пропаганды. Временное правительство было связано своими декларациями о свободе слова, всей своей идеологией. Оно смотрело на газетную пропаганду совершенно пассивно. Отчасти в этой пассивности сказывалось тоже сознание своего бессилия, которое помешало временному правительству принять решительные меры против таких явлений прямо уголовного характера, как захват особняка Кшесинской и устройства из него цитадели и публичной кафедры самого разнузданного большевизма. Теперь, конечно, легко упрекать врем. правительство за эту пассивность. Но если перенестись мысленно в ту эпоху и вызвать в себе вновь то настроение, которое тогда было преобладающим, то станет ясным, что иначе прави-

тельство не могло действовать, не рискуя остаться в полном одиночестве. Кто бы его поддержал? Петербургский гарнизон не был в его руках. «Буржуазные» классы, неорганизованные, не боевые, были бы, конечно, на его стороне, но ограничились бы платоническим сочувствием. А, между тем, здесь недостаточно было такого сочувствия, хотя бы и со стороны очень многочисленных групп населения.

Не так давно мне пришлось с Милюковым говорить на эти темы. Мы коснулись вопроса о том, была ли возможность предотвратить катастрофу, если бы в самом начале временное правительство поставило вопрос о власти ребром, оперлось на Государственную думу, не допустило бы политической роли Совета и Исполнительного Комитета и, в случае сопротивления, арестовало бы его главарей. Я считал и считаю эту возможность чисто-теоретической. Но Милюков утверждал, что в первые дни переворота гарнизон был в руках Госуд. думы, и если бы этот первый момент не был упущен, положение могло быть спасено. Очевидно, с этим связан и вопрос о Михаиле. Если бы династия удержалась на троне, власть и ее престиж были бы сохранены. Но я не вижу, каким образом это могло бы удасться временному правительству без монарха. Какие силы сохранили бы его престиж и авторитет? А главное, как бы оно справилось с вопросом о войне,—этим оселком всей революции.

Я хорошо помню, что Милюков неоднократно возбуждал вопрос о необходимости более твердой и решительной борьбы с растущей анархией. Это же делали и другие. Но я не помню, чтобы были предложены когда-нибудь какие-нибудь определенные практические меры, чтобы они обсуждались временным правительством. Отсутствие хорошо организованной полицейской

силы и безусловно преданной правительству силы военной парализовали его. Здесь и был зародыш разрушения, и росту его не могла воспрепятствовать вся огромная энергия, проявленная врем. правительством в деле органического законодательствования. А, кроме того, каждый из министров был настолько поглощен своим ведомством, что ни у кого из них не было времени практически обдумывать то, что касалось других ведомств, и предлагать какие-нибудь конкретные меры. В частных совещаниях обсуждались лишь общеполитические вопросы. Конечно, Милюков неоднократно обращал внимание, хотя бы, например, на необходимость покончить с безобразным скандалом, невозбранно творившимся перед домом Кшесинской и в нем самом. Но как это сделать?—на этот вопрос у него ответа не было.

История ухода Милюкова, неверно, очень плохо им изложена в уже написанном первом томе истории русской революции. Фактически, конечно, этот уход был делом рук социалистов, которым в данном случае помог Альберт Тома, приехавший 9 апреля в Петербург. Не помню, до приезда ли Тома или уже в 10 числах апреля Милюков в одно утреннее мое посещение сказал мне, что он, в самом деле, думает, не лучше ли ему передать портфель министра внутренних дел Терещенко («он, по крайней мере, не совсем в этих вопросах безграмотный и хоть с послами будет в состоянии говорить»), с тем, чтобы Мануилов взял финансы (а, может быть, Шингарев—финансы, а Мануилов—земледелие), передав портфель министра народного просвещения ему, Милюкову. Но я не поддерживал этой мысли, и Милюков вскоре сам ее оставил. Как раз в это же время вернулся в Россию Чернов, и кампания против Милюкова началась во всю. В том совместном заседании временного правительства с комитетом Государ-

ственной думы и Исполнительным Комитетом Совета Депутатов, в котором обсуждались вопросы внешней политики, и сделано было Черновым заявление о том, что пора-де России перестать говорить с Европой языком «бедной родственницы»; он прямо заявил, со свойственными ему пошлыми ужимками, сладенькой улыбкой и кривляниями, что и он и его друзья безгранично уважают Милюкова, считают его участие во временном правительстве необходимым, но что, по их мнению, он бы лучше мог развернуть свои таланты на любом другом посту, хотя бы в качестве министра народного просвещения. В то же время произошел резкий инцидент с Керенским, в связи с данным им бюро прессы оффициозным communiqué о том, что предстоит опубликование правительственного сообщения по вопросам иностранной политики. О том, что это communique дано Керенским, я узнал от Л. Львова (игравшего в бюро главную роль). Мне было хорошо известно, что ни о чем подобном не было речи во временном правительстве, и я усмотрел в поступке Керенского недопустимый подвох, чтобы не сказать провокацию. Тотчас же я сообщил об этом Милюкову в происходившем в то время заседании временного правительства. По окончании заседания Милюков обратился с вопросом, кто дал такое заведомо несоответствующее действительности communiqué прессе. Керенский несколько смутился, пытался увиливать, говоря, что он не отвечает за ту форму, в которой пресса передала его слова, но в конце концов заявил, что при сложившихся обстоятельствах такое сообщение он считает необходимым. Тогда Милюков сказал кн. Львову, что, если Керенский не опровергнет сообщения, он, Милюков, немедленно подаст в отставку. Так как уже было поздно и все устали, решено было обсудить вопрос вечером. Произошло очень бурное

заседание, в котором Керенский почувствовал себя совершенно одиноким, так как даже его наиболее твердые сторонники находили допущенный им прием совершенно неприличным и невозможным. Ему пришлось уступить, и он по телефону (из моего кабинета) сделал требуемое опровержение. Вместе с тем, однако, был поднят вопрос о том, что декларация о задачах войны официально не сообщена союзникам, и потому является как бы документом лишь для внутреннего употребления, что, разумеется, подрывает его значение. Соответственно этому пред'явлено было требование официально уведомить дипломатических представителей о взгляде временного правительства по данному вопросу. Против этого трудно было спорить, Милюкову пришлось согласиться; и тогда уже было решено, что нота министра иностранных дел будет обсуждена во всем составе временного правительства, что и произошло. В то время А. И. Гучков был болен, у него было ослабление сердечной деятельности, и заседания происходили у него. Я очень отчетливо помню, что доложенный Милюковым проект при первом же прочтении произвел на всех, и даже на Керенского, впечатление бесспорно приемлемого,—мало того, впечатление, что Милюков здесь проявил максимум уступчивости и готовности итти навстречу своим противникам. Потому вначале прения еле завязались, но потом Керенский стал придираться к отдельным выражениям, предлагая крайне неудачный вариант, настроение стало портиться, обычный личный антагонизм дал себя почувствовать в повышенном тоне и резких выходках. Все-таки, в конце концов, удалось обойти разногласия и об'единиться на одном тексте,—на том, который был опубликован. Милюков, помнится, в конце заседания подчеркнул, что, стало быть, правительство целиком солидарно с данным

документом и берет на себя ответственность за его содержание. Керенский не возражал. Очевидно, в этом случае здравый смысл и разумное отношение к делу оказались в нем сильнее партийных шор. С другой стороны, в данной обстановке он, повидимому, не счел возможным консультировать своих друзей, добросовестно уверенный, что и для них нота является вполне приемлемой. Она была опубликована в № от 20 апреля. Произошли известные события, подробно изложенные в тогдашних газетах. Так как демонстрации были направлены против Милюкова, временное правительство вынуждено было официально заявить, что нота была им одобрена без разногласия с чьей бы то ни было стороны. В сущности говоря, вся эта демонстрация была совершеннейшим пуфом и вызвала очень внушительные контр-демонстрации. Но создалось обостренное и повышенное настроение. Вероятно, тот факт, что в вопросе о ноте Керенский вынужден был солидаризироваться формально с Милюковым, обострил и личный антагонизм. Социалисты упорно продолжали свою работу. Тома играл двусмысленную роль и отзывался о Милюкове пренебрежительно и враждебно *). Но так как к тому времени Милюков окончательно решил не уступать, то ясно было, что должен произойти кризис уже по инициативе временного правительства. Он и произошел. Какую роль при этом играли прочие министры ка-деты, я не берусь теперь сказать. Милюкову был предложен портфель министра народного просвещения, он категорически отказался и уехал из заседания уже

*) В это время временное правительство пришло к решению о необходимости пополнить свой состав социалистами (см. декларацию 23 апреля). Милюков был принципиально против этого и очень нехотя согласился на текст декларации. Об этом я хочу [illegible] еще отдельно.

не министром. На следующее утро мы с Винавером были у него, по поручению центрального комитета, и долго и настойчиво уговаривали его остаться и согласиться принять портфель министра народного просвещения. Нам казалось, что уход Милюкова одновременно с введением в состав правительства социалистов есть начало крушения. Конечно, мы при этом находили, что, оставаясь в правительстве, Милюков, хотя и занимая пост министра народного просвещения, должен иметь возможность влиять на иностранную политику и быть все время в ее курсе. Это было осуществимо в связи с возникшим тогда проектом особого совещания, выделенного из состава временного правительства и долженствовавшего ведать вопросы обороны, а наряду с ними и общие вопросы международной политики. Это совещание было придумано против Милюкова. Мы предлагали ему при изменившихся условиях воспользоваться им в интересах дела и остаться в правительстве, обусловливая свое дальнейшее пребывание тем, что он будет одним из членов совещания. Милюков не согласился. Сперва он спорил; когда аргументы были исчерпаны, он сказал буквально следующее: «Возможно, что ваши доводы правильны, но у меня есть внутренний голос, говорящий мне, что я не должен им следовать. Когда у меня бывает такое ясное и определенное сознание,—хотя бы и не мотивированное,—необходимой линии поведения, я следую ему. Я не могу поступить иначе». Мы поняли, что вопрос исчерпан, и ретировались. С этой минуты начался между Милюковым и временным правительством разрыв по существу.

Я уже упомянул о декларации-воззвании 23 апреля, в которой было обещано обращение к социалистам с предложением им принять участие в правительстве. Это воззвание было развитием той идеи (на которой,

чуть не с самого начала, настаивал Гучков, а потом и Мануилов), что временное правительство должно уйти, сказав стране, что оно сделало и почему дальнейшие усилия оно считает бесплодными: своего рода эпитафия или политическое завещание. Но воззвание фактически не заявляло об уходе правительства. Оно, в сущности, раскрывало во всем ее об'еме картину того, что происходило в стране и делало вывод: или—крушение и гибель «завоеваний революции, или—поддержка власти населением, призываемым к добровольному подчинению. Составление этого документа было поручено Кокошкину. Милюков впоследствии утверждал, что кокошкинский текст, благодаря Керенскому, превратился в отвлеченное социологическое рассуждение, лишенное всякой практической силы. Это—преувеличенный отзыв. Керенским—и даже не им, а редакцией «Дела Народа»—было введено в воззвание только несколько строк, которые, действительно, довольно туманно и отвлеченно излагали причины происходившей неурядицы, и видели ее корни в том, что старые общественно-политические скрепы рухнули прежде, чем успели сложиться и скрепнуть новые связи. Это, конечно, была «социология», но вполне безобидная и не она придавала основной тон воззванию. Если оно было слабым документом (а я считаю его одним из слабейших), то не по вине Керенского и, конечно, тем более, не по вине Кокошкина. Оно было слабо в своем основном тоне, и нельзя отрицать, что его идеология—ставящая во главу угла *добровольное* подчинение граждан ими же избранной власти—очень была сродни идеологии анархизма. Во всяком случае, суть дела была не в этих увещаниях, а в призыве социалистов. Кажется, временное правительство само не верило, что они откликнутся. Но социалисты поняли, что дальнейший от-

каз создал бы против них сильное орудие и сделал бы их положение «безответственных критиков» и «контролеров» крайне затруднительным. Они пошли в министры. В сущности говоря, с этой минуты можно было сказать, что дни временного правительства, поставленного «победоносной революцией», сочтены, что мы перешли в период всяких министерских кризисов, из которых каждый ослабляет власть,—что остановиться на пути к торжеству большевистских стремлений будет невозможно. Если бы Милюков не ушел в первые дни мая, все равно ему было не по пути с Церетелли и Скобелевым.

«Контактная комиссия», о которой я уже неоднократно упоминал, была образована Советом Рабочих и Солд. Депутатов 10 марта, при чем в первый ее состав вошли Чхеидзе, Скобелев, Стеклов-Нахамкес, Филипповский и Суханов. В конце марта Церетелли заменил Стеклова. Впрочем, если память мне не изменяет, они первое время участвовали совместно. Значительно позже появился Чернов. В течение первых недель существования временного правительства заседания контактной комиссии происходили часто, раза три в неделю, иногда и больше, всегда по вечерам, довольно поздно, по окончании заседания временного правительства, в этих случаях всегда сокращаемого. Главным действующим лицом в этих заседаниях был Стеклов. Я впервые тогда с ним познакомился,—не подозревал ни того, что он—еврей, ни того, что за его благозвучным псевдонимом скрывается отнюдь не благозвучная подлинная фамилия... Тон его был тоном человека, уверенного в том, что временное правительство существует по его милости и до тех пор, пока это ему угодно. Он как бы разыгрывал роль гувернера, наблюдающего за тем, чтобы доверенный ему воспитан-

ник вел себя, как следует, не шалил, исполнял его требования и всегда помнил, что ему то и то позволено, а вот это—запрещено; при этом—постоянно прорывающееся сознание своего собственного могущества и подчеркивание своего великодушия. Сколько раз мне пришлось выслушивать фразы, в которых прямо или косвенно говорилось: «Вы (т.-е. временное правительство) очень хорошо, ведь знаете, что стоило бы нам захотеть, и мы беспрепятственно взяли бы власть в свои руки, при чем это была бы самая крепкая и авторитетная власть. Если мы этого не сделали и *пока* не делаем, то лишь потому, что считаем вас в настоящее время более соответствующими историческому моменту. Мы согласились допустить вас к власти, но именно потому вы в отношении нас должны помнить свое место,—вообще, не забываться, не предпринимать никаких важных и ответственных шагов, не посоветовавшись с нами и не получив нашего одобрения. Так должны вы помнить, что стоит нам захотеть, и вас сейчас же не будет, так как никакого самостоятельного значения и веса вы не имеете». Он не упускал случая развивать эти мысли. Помню, по какому-то случаю кн. Львов упомянул о том потоке приветствий и благопожеланий, которые ежедневно приносит сотни телеграмм со всех концов России, обещающих временному правительству помощь и поддержку. «Мы—тотчас же возразил Стеклов—могли бы вам сейчас же представить гораздо большее, в десять раз большее количество телеграмм, за которыми стоят сотни тысяч организованных граждан, и в этих телеграммах от нас требуют, чтобы мы взяли власть в свои руки». Это была тоже другая сторона позиции: «Мы—дескать, т.-е. Исполнительный Комитет, своим телом заслоняем вас от враждебных ударов,—мы внушаем подчиненным нам массам доверие к вам». Эта сторона была особенно неприятна Керенскому, который с пер-

вых же шагов стремился ставить дело так, что именно он, Керенский, являясь «заложником демократии» и продолжая формально носить звание товарища председателя Исполнительного Комитета, считал—или хотел, чтобы другие считали, что именно он, Керенский, привлекает к временному правительству все сердца «широких масс». Оттого он менее других выносил Нахамкеса и с наибольшим раздражением реагировал—в составе временного правительства— на его тон. Он считал, вместе с тем, что его положение во временном правительстве не дает ему возможности полемизировать с Стекловым и «отделывать» его. Он, потому, часто уклонялся от участия в заседаниях с контактной комиссией, а когда бывал в них, то только «присутствовал», сидя возможно дальше, храня упорное молчание и лишь злобно и презрительно поглядывая своими всегда прищуренными близорукими глазами на оратора и на других. А по окончании заседания, оставшись наедине с коллегами-министрами, он зачастую с большой страстностью обрушивался на кн. Львова, упрекая его в слишком большой мягкости и деликатности и изумляясь, что он допустил те или другие заявления Нахамкеса, не ответив на них, как следует.

Надо сказать, что Стеклов в иных случаях возбуждал раздражение даже среди своих «друзей», вернее говоря, среди других членов контактной комиссии, так как друзей у него, повидимому, немного. Бывали случаи, когда Чхеидзе или Скобелев перебивали то или другое его заявление или же тотчас вслед за ним замечали, что в данном вопросе Стеклов говорит лишь от своего имени и выражает свое суб'ективное мнение и что «у нас этого не было постановлено». Впрочем, это ничуть не смущало Стеклова... Бывало также, что он тут же пытался вступать в полемику со своими коллегами. И, в сущности говоря, я не знаю, кто из них

был в самом деле способен противопоставить себя Стеклову в отношении безграничного апломба и способности беззастенчиво отождествлять себя и свой голос с голосом «трудящихся масс». На первом с'езде делегатов Советов Раб. и Солд. Депутатов, 29 марта, он выступал с изложением истории отношений между временным правительством и Исполн. Комитетом, при чем развивал проект введения во все ведомства комиссаров совета «для неусыпного надзора за всею деятельностью временного правительства». Мысль об этих комиссарах создавала один из самых острых конфликтных вопросов. Она была оставлена только тогда, когда введение в состав временного правительства социалистов сделало его более «надежным» в глазах Совета Раб. и Солд. Депутатов.

Из числа других членов контактной комиссии двое — Филипповский и Суханов — почти никогда не говорили, по крайней мере, за то время, что я принимал участие в делах временного правительства. После Стеклова чаще других выступал Скобелев. Его я раньше тоже совсем не знал. Это один из самых самых малюсеньких людей, мало одаренных, очень ограниченных, но случайно, благодаря тому, что Государственная дума создала всероссийскую трибуну для их политических выступлений, инспирируемых, а порою прямо продиктованных из-за кулис,сделавшихся известными во всей России в качестве porte-voix «рабочих масс». Он и старался, — и старался добросовестно, — быть таким porte-voix. Даром слова он, кажется, вовсе не обладает. Не знаю, может быть, в роли митингового оратора, в сочувствующей ему среде, он может производить известное впечатление, но здесь, где трафаретов не было, а приходилось брать содержанием речи, он неизменно оказывался необыкновенно бедным, беспомощным, скучным и робким. Все же нельзя отрицать, что в нем было больше

привлекательности, чем в окружавших его. Он казался простодушным, более искренним,—более добросовестным, чем они. И, пожалуй, он—под влиянием атмосферы Государственной думы—более отдавал себе отчет в огромности создавшихся затруднений. Впрочем, еще недавно, в Киеве, мне приходилось слышать от Шульгина, что Чхеидзе уже в самые первые дни, чуть ли не часы, революции впадал в полное отчаяние и, хватаясь за голову, говорил, что все пропало. Чхеидзе—гораздо более красочная фигура, чем Скобелев. В нем всегда было, на мой взгляд, что-то траги-комическое—во всем даже его внешнем облике, в выражении лица, в манере говорить, в акценте. И, конечно, самым трагическим было то, что такой человек, как Чхеидзе, оказался «вождем демократии» всей России, председателем Совета Рабочих Депутатов, влиятельной фигурой и, по крайней мере в то время, будущим кандидатом в председатели учредительного собрания, а пожалуй—и в президенты российской республики. В заседаниях с контактной комиссией он выступал тогда, когда надо было придать особую вескость заявлению или запросу. Но, кажется, и он относился отрицательно к Стеклову.

Заседания с контактной комиссией происходили не каждый день и не в определенные дни. Инициатива их чаще всего исходила от самой комиссии: сообщалось оттуда (обыкновенно это делал Чхеидзе), что комиссия желала бы иметь совещание с временным правительством для обсуждения некоторых вопросов. При этом, в большинстве случаев, правительство заранее не было уведомлено о том, какие будут поставлны вопросы, и на этой почве порою происходили довольно забавные неожиданности, обнаруживавшие всю степень разности во взглядах на относительное значение того или другого факта или мероприятия. Я помню, что одним из во-

просов, наиболее привлекавшим внимание на первых порах, был вопрос о похоронах жертв революции. Совет Раб. Депутатов с большой бесцеремонностью хотел монополизировать эту церемонию. Не предваряя временное правительство, Исполнительный Комитет назначил день, опубликовал церемониал похорон и выбрал местом для братской могилы—Дворцовую площадь, где, как известно, даже приступили к рытью могилы. После долгих утомительных и нелепых пререканий, этот вопрос, наконец, был ликвидирован, правительство сговорилось с Исполнительным Комитетом, и произошла одна из тех грандиозных демонстраций, успех которых зависит отчасти от наличности массы праздных людей, готовых стать участниками или зрителями торжественных шествий, отчасти от настроения, жаждущего вылиться в какую-то демонстрацию и находящего себе здесь удовлетворение.

Как я уже сказал, примерно в конце марта в заседаниях контактной комиссии появился Церетелли. Для меня это была совсем незначительная фигура. Во времена второй думы я его слышал неоднократно на кафедре, но не имел случая с ним встречаться. Первое впечатление безусловно подкупало в его пользу. Имя его было окружено ореолом политического мученичества, самого подлинного и трагического. Краткая его карьера во второй думе, привлекшая к нему все симпатии, закончилась 10-летней ссылкой, протекавшей, по крайней мере, в начале, в самых тягостных для него условиях. Наружность его как-то соответствовала тому представлению, которое создавалось о его характере, нравственном облике. Его восточного типа лицо красиво и тонко, а большие черные глаза то горят, то подернуты какой-то тоскливой задумчивостью. Он очень незаурядный оратор. Его акцент, менее заметный, менее грубый, чем у Чхеидзе, порою, придает особенно вырази-

тельную силу тому, что он говорит. Он может достигать большой силы, особенно, в сочувствующей ему атмосфере, и когда говорит на излюбленные социал-демократические темы. Но рядом с этим он может быть, и нередко бывает нестерпимо трескучим, по существу бессодержательным и фальшивым. В этом отношении мне особенно памятны две его речи—одна, сказанная в торжественном заседании всех четырех дум, 27 апреля, и другая—в московском государственном совещании. Особенно тяжело было слушать последнюю, так ясно было, что Церетелли сам совершенно не верит тому, что говорит. Между тем обычно его речь производит впечатление большой убежденности и искренности, и в этом одно из условий его успеха. Конечно, если подходить к его речам с какими-нибудь требованиями глубокого содержания, обилия идей, разносторонних знаний—придется испытать полное разочарование. Круг руководящих идей Церетелли очень мал и узок, это, в сущности говоря, ординарнейший марксистский трафарет, крепко усвоенный еще на студенческой скамье. Все, что вне этого трафарета, все, что требует внутреннего проникновения, индивидуального подхода, самостоятельной работы мысли,—все это оставляет Церетелли совершенно беспомощным.

Лично с ним мне пришлось войти в более близкое соприкосновение в средине сентября 1917 года, в тех, организованных Керенским, совещаниях с представителями политических партий, результатом которых было образование кабинета последней формации (с Кишкиным, Коноваловым, Третьяковым, Смирновым, Малянтовичем, Масловым) и учреждение совета российской республики. Самой характерной чертой его тогдашнего настроения был страх пред растущей мощью большевизма. Я помню, как он, в беседе со мною глаз на глаз, говорил о возможности захвата власти большеви-

ками. «Конечно,—говорил он,—они продержатся не более двух-трех недель, но подумайте только, какие будут разрушения. Этого надо избежать, во что бы то ни стало». В его голосе звучала неподдельная паническая тревога. Он в то время верил в спасительное значение совета российской республики. Это название придумано им (или его единомышленниками). Он мне предложил его в тот вечер, когда я пришел, по уговору, на квартиру Скобелева чтобы обсудить проект министерской декларации, составленной Церетелли. В этот вечер у меня было очень нужное для меня свидание в другом месте, и я хотел быть свободным пораньше. Каюсь, возможно, что в силу этого обстоятельста я с недостаточной внимательностью отнессся и к тексту декларации, и к предложению назвать вновь создаваемое учреждение «Советом Российской республики». Должен, однако, прибавить в свое оправдание, что предыдущий опыт настроил меня скептически в отношении всяких деклараций. Я постепенно приходил к убеждению, что эта вечная торговля из-за отдельных слов и выражений, какое-то староверческое упорство в отстаивании одних и в оспаривании других, все это—самое жалкое бесплодное византийство, важное и интересное только для партийных кружков, разных центральных комитетов и проч., но на жизни совершенно не отражающееся, ей чуждое. Все содержание декларации было уже наперед выяснено в совещаниях в Зимнем дворце, где выработана была программа министерства. Редакция этой программы казалась для меня второстепенной. Благодаря этому в первоначальном проекте, установленном Церетелли и принятом мною, оказалось 2—3 очень неудачных места, которые были исправлены или даже из'яты А. Я. Гальперном, тогдашним управляющим делами Вр. Правительства (сейчас я не могу припомнить содержание этих lapsus'ов). Церетелли проте-

стовал по телефону, но, в конце концов, уступил. Что касается названия «Совет Российской республики», то мне, как кадету, надлежало, конечно, решительно возразить, так как мы считали совершенно неправильным установление формальной квалификации того временного строя, который установился в дни переворота и должен был дожить до Учред. Собрания. Я помню, что, когда Церетелли с некоторой восторженностью заявил мне: «Мы придумали название: совет российской республики. Правда хорошо? Как вы думаете, В. Д.? Мне кажется, это сразу произведет большое впечатление и создаст симпатии». Я ответил, что более подходящим было бы название «Совет российского государства» или «Совет при временном правительстве» *), но первое название слишком сближало новое учреждение с прежним государственным советом, а второе как бы сводило его на уровень обыкновенной совещательной коллегии при правительстве. Потому, я не стал спорить против предложения Церетелли...

Мне придется еще вернуться ко всей этой затее с «Советом российской республики», которой я здесь коснулся только в связи с характеристикой Церетелли. Как известно, он тогда же, в конце сентября, уехал на Кавказ и вернулся в Петербург только в начале ноября, после большевистского захвата. Тогда, встретившись со мною в городской думе, он сказал мне: «Да, конечно, все, что мы тогда делали, было тщетной попыткой остановить какими-то ничтожными щепочками разрушительный стихийный поток».

Здесь я хочу только вставить еще один эпизод, характерный уже не для Церетелли. Он просто фактически находится в связи с историей учреждения совета

*) Замечательно, что впоследствии это последнее название очень защищал А. А. Демьянов в заседании Врем. Прав., в котором был заслушан и утвержден проект.

республики. Когда был установлен текст «положения» об этом учреждении, мы условились с П. Н. Малянтовичем,—только-что назначенным новым министром юстиции,—что я приду к нему для окончательного проредактирования текста. Он мне предложил очень поздний час, 12 ночи,—я согласился. Застал я его в столь мне памятном по детским воспоминаниям кабинете в квартире генерал-прокурора, очень озабоченного... Он поведал мне причину своей озабоченности. Они касались пресловутого Н. Д. Соколова, которого Керенский назначил за два-три месяца до того сенатором первого департамента. У Соколова вышло столкновение с первоприсутствующим по вопросу о мундире. Соколов не захотел подчиниться решению, принятому сенаторами, сохранить для открытых заседаний и общих собраний мундир. Он явился в одно из таких заседаний в сюртуке и имел довольно бурное, повидимому, пререкание с Враским (меня в этом заседании не было), в результате чего вынужден был удалиться. Тогда он прислал заявление министру юстиции, в котором указывал на то, что сенат поставил совершенно незаконное и произвольное требование, заставляя сенаторов, надевать на себя «эмблемы рабства» (этими словами он обозначал пуговицы на мундире с изображением двуглавого орла над законами), и сам, в свою очередь, требовал решения вопроса законодательным путем в демократическом духе. Малянтович был страшно озадачен. «Как вы думаете, что нужно сделать?» спрашивал он меня. Я ему иронически отвечал, что не задумывался над этим серьезным и сложным вопросом, и прибавил, что на его месте бросил бы заявление Н. Д. Соколова в корзину под стол. «Как можно? Ведь вы же не знаете Николая Дмитриевича. Он этого так не оставит. Я уже думаю образовать по этому вопросу какую-нибудь комиссию. Главное, сейчас очень трудно вводить новые

пуговицы. Откуда их взять? и они будут для сенаторов новым большим расходом»... Так как я не отвечал ничего, он со вздохом закончил: «Может быть, вы потом что-нибудь надумаете по этому вопросу»...

Таким ничтожным, жалким вздором занимался член временного правительства за месяц до переворота... Так, кажется, и остался до самого конца открытым вопрос о пуговицах...

***

Когда теперь, более года спустя, я мысленно хочу вновь пережить первые два месяца существования временного правительства, в моем воспоминании возникает довольно хаотическая картина. Припоминаются отдельные эпизоды, бурные столкновения, возникавшие иногда совершенно неожиданно, бесконечные прения, затягивавшие заседание порою до глубокой ночи. Припоминается ежедневная лихорадочная работа, начинавшаяся с утра и прерывавшаяся только завтраком и обедом. Я жил у себя на Морской, в пяти минутах ходьбы от Мариинского дворца, это было очень удобно. Припоминаются беспрерывные телефоны, ежедневные посетители,—почти полная невозможность сосредоточиться. И припоминается основное настроение: все переживаемое представлялось *нереальным.* Не верилось, чтобы нам удалось выполнить две основные задачи: продолжение войны и благополучное доведение страны до учредительного собрания...

Известно, что постановление временного правительства об образовании особого совещания по изготовлению закона о выборах в учредительное собрание состоялось лишь в конце марта. Способ комплектования этого учреждения (назначение лиц, представленных группами и партиями) был выбран такой, который обеспечивал бы полное к нему доверие. Но, к сожалению, это

комплектование сильно затянулось. Фактически в этом более всего был виноват Исполн. Комитет Совета Раб. Депутатов, страшно запоздавший представлением своих кандидатов. Нужно, однако, сказать, что и вся постановка вопроса об учредительном собрании заключала в себе внутренний порок, и это бессознательно ощущалось с первых же дней. Нередко мне приходилось впоследствии слышать такие мнения: временное правительство должно было немедленно, в первые же дни, образовать небольшую комиссию из нескольких наиболее знающих и авторитетных юристов, поручить им в двухнедельный срок выработать закон о выборах и назначить выборы возможно скорее, в мае, например. Помню, что такую мысль высказывал, в числе других (несколько неожиданно), Л. М. Брамсон. Лично я, с первых же дней пребывания в должности управляющего делами, неоднократно и настойчиво заговаривал с кн. Львовым о необходимости возможно скорее поднять в конкретной форме и разрешить вопрос. Но всегда оказывались другие, более настоятельные, не терпящие отлагательства, дела. Когда же образовано было, наконец, особое совещание и началась разработка закона, весь аппарат оказался настолько сложным и громоздким, что стало невозможным рассчитывать на сколько-нибудь быстрое окончание работы и назначение выборов в близком будущем. Следует ли из этого, что другой план—образование маленькой комиссии, быстрая разработка закона, назначение выборов возможно скорее—был и осуществим, и целесообразен? Я этого не думаю. Прежде всего, для меня несомненно, что начался бы немедленный поход против правительства, с обвинением его в намерении составить закон кабинетным, бюрократическим путем. Всякие недостатки этого закона ставились бы на счет правительству. Подрывался бы авторитет составителей—и, конечно, выполненного ими проекта.

Думаю, что и сами составители оказались бы в величайшем затруднении по ряду коренных, принципиальных решений,—хотя бы, например, по вопросу о той или другой системе выборов—мажоритарной или пропорциональной, или по вопросу об участии в выборах чинов действующей армии и флота, или, наконец, по организации выборов на окраинах. Но допустим, что все эти затруднения удалось бы преодолеть. Как можно было организовать выборы в России, сверху до низу потрясенной переворотом, в России, не имеющей ни демократического самоуправления, ни правильно налаженного местного административного аппарата. А выборы в армии... Но, конечно, самый огромный риск заключался бы в самом созыве учредительного собрания. Наивные люди могли теоретически представлять себе это собрание и роль его в таком виде: собралось бы оно, выработало бы основной закон, облекло его всею полнотой власти для окончания войны, а затем разошлось бы... Это можно себе представить, но кто поверит, что так в самом деле могло случиться. Если бы до учредительного собрания удерживалась какая-нибудь власть, то созыв его был бы, несомненно, началом анархии.

Теперь опыт с учредительным собранием проделан. Вероятно, сами большевики в октябре еще не представляли, что уже в начале января, два месяца спустя после переворота, удастся так легко разделаться с этим собранием. Как известно, одно из обвинений, пред'явленных ими временному правительству, заключалось в том, что временное правительство затягивало выборы... А когда для них учредительное собрание оказалось неподходящим, они без колебаний его разогнали. Если бы временное правительство чувствовало подлинную, реальную силу, оно могло сразу об'явить, что созыв учредительного собрания произойдет по окончании войны,—и это, конечно, по существу было бы един-

ственно правильным решением вопроса, после того, как отказ Михаила Александровича сделал необходимым постановку вопроса о форме правления. Но временное правительство не чувствовало реальной силы. Ибо с первых же дней его существования началась та борьба, в которой на одной стороне стояли все благоразумные и умеренные, но увы!—робкие, неорганизованные, привыкшие лишь повиноваться, неспособные властвовать элементы общества, а на другой—организованное rascality, со своими тупыми, фанатическими, а порою бесчестными вожаками.

Центром тяжести всего положения сразу стал вопрос об армии.

Недели через три после переворота, начиная с двадцатых чисел марта, стали прибывать в Петербург депутации с фронта. Целью их приезда выставлялось с одной стороны—заявить временному правительству о своей готовности поддержать новый строй и защищать свободу, а с другой—уяснить себе настоящую сущность отношений между временным правительством и Советом Раб. Депутатов. Депутации прибывали ежедневно, с разных фронтов, от разных частей, в более или менее многочисленном составе, с командирами и офицерами во главе, с красными значками и красными знаменами. Почти всегда временное правительство принимало их в ротонде Мариинского дворца. Помню, как в начале меня поражала картина внутренности этого дворца и как трудно было сочетать ее со старыми воспоминаниями, относящимися к эпохе до-реформенного совета и моей службы в государственной канцелярии. Тогда Мариинский дворец был святилищем высшей бюрократии. В нем помещались государственный совет с государственной канцелярией, комитет министров и его канцелярия и канцелярия по принятию прошений, на высочайшее имя приносимых. В великолепных залах дворца, устлан-

ных бархатными коврами, обвешенных тяжелыми драпировками, уставленных золоченой мебелью, бесшумно двигались необыкновенно статные камер-лакеи в расшитых ливреях и белых чулках, разнося чай и кофе. В дни заседаний пленума (по понедельникам) царила какая-то взволнованная торжественность. Внушительные фигуры по большей части престарелых сановников, в лентах и орденах,—военные и придворные мундиры,—сдержанные разговоры—все создавало какую-то атмосферу недоступности, оторванности от низменной будничной жизни. В эти дни человек в пиджаке показался бы какой-то неприличной и дикой аномалией, если бы он вдруг очутился в среде этих выхоленных, нарядных, осанистых людей.

Сейчас все это исчезло бесследно. Мариинский дворец подвергся радикальному «опрощению». В его роскошные залы хлынули толпы лохматых, небрежно одетых людей, в пиджаках и косоворотках самого пролетарского вида. Великолепные лакеи, сменив ливреи на серые тужурки, потеряли всю свою представительность. Прежнее торжественное священнодействие заменилось крикливой суетой. Все это произошло хотя и постепенно, но в очень короткий промежуток времени. В первые недели в Мариинском дворце собиралось только временное правительство да юридическое совещание. Тогдашний «революционный» городской голова, Ю. Н. Глебов, настойчиво хлопотал о том, чтобы большой зал государственного совета, вместе с аван-залом, был предоставлен городской думе для ее заседаний. Я также настойчиво противодействовал этой попытке, которая и провалилась. Но зато Мариинский дворец очень скоро стал центральным местом всяких комиссий, а когда начало свои работы совещание по выработке закона о выборах в учредительное собрание, бывали дни, когда все залы, до ротонды включительно, были заняты ко-

миссиями. В марте еще этого не было, ротонда почти всегда бывала свободна, и ею пользовались для приема воинских депутаций.

Как больно, как тягостно сейчас вспоминать об этих депутациях. Сколько выслушано было нами заявлений о готовности поддержать всеми силами «народное временное правительство», дружно отстаивать свободу и неприкосновенность родины, не слушать смутьянов, не поддаваться на происки врагов. Какие горячие, часто восторженные речи! Правда, лица солдат по большей части выражали—в лучшем случае—какую-то растерянную тупость; правда, в словах офицеров не чувствовалось ни уверенности, ни властности, и часто резала революционная фраза, гибельная по своему духу. Правда, казалась непонятной и неправдоподобной эта внезапная революционная сознательность, и шевелился в душе вопрос: не есть ли это просто голос бунтарства, не сказывается ли здесь элементарный протест против всякой дисциплины, всякого подчинения. Главной темой речей был почти неизменно вопрос об отношениях между временным правительством и Советом Раб. Депутатов. Часто говорилось, что армия смущена и недоумевает под впечатлением какого-то двоевластия, что ей нужна единая власть. В ответ на это из уст представителей правительства слышались довольно-таки елейные заявления о том, что никакого двоевластия нет, что между ним, временным правительством, и Советом Раб. Депутатов полное единение, взаимное доверие, наилучшие отношения. Говорилось и на тему о войне, но здесь както меньше всего чувствовалось уверенности.

Первые депутации производили и на временное правительство и на самих депутатов сильное впечатление. Казалось, что устанавливается какая-то духовная связь с армией, и что можно будет удержать или даже воссоздать крепкую и стойкую военную силу. Но это толь-

ко казалось. Прибывавшие с фронта депутации вступали в контакт не только с правительством, но и с Советом депутатов. Правительство ограничивалось тем, что принимало их в залах Мариинского дворца, выслушивало, отвечало, депутации кричали ему «ура»—и уходили в Таврический дворец, где им прежде всего внушали убеждение в величии и всемогуществе Совета Раб. Депутатов и его Исполнительного Комитета, и где всевозможные безответственные люди занимались демагогической и анархической пропагандой. Эту же пропаганду они встречали везде,—на уличных митингах, в казармах,—они входили в соприкосновение с разнузданными и развращенными элементами петербургского гарнизона, гордящимися тем, что «мы сделали революцию», и сами развращались. В результате, паломничество депутаций от армий в Петербург сделалось средством заражения и разложения войск, а не их оздоровления.

Когда в средине апреля ген. Алексеев приехал в Петербург и в заседаниях временного правительства (собиравшегося, по случаю болезни А. И. Гучкова, на его квартире) обрисовывал настроение в армии, я хорошо припоминаю, какое чувство жути и безнадежности меня охватывало. Вывод был совершенно ясен. Несмотря на все оговорки, приходилось уже тогда констатировать, что революция нанесла страшнейший удар нашей военной силе, что ее разложение идет колоссальными шагами, что командование бессильно. Обнаружилось в командном составе два течения, два типа людей. Одни очень скоро поняли, что они могут удержаться на своих местах только безудержным потаканием революционизированных солдат, заискиванием, утрированием новых «товарищеских» отношений,—по-просту говоря—подличанием перед солдатами. Эти лица, конечно, только способствовали разрушению дисциплины, утрате сознания воинского долга,—вообще, гибели армии. Другие не хо-

тели мириться с новыми порядками и новым духом, пытались им противодействовать, проявить власть,—и либо попадали в трагические истории, либо оказывались неудобными в глазах более высокого начальства и были смещаемы со своих должностей. Таким образом, лучшие, наиболее сильные, наиболее добросовестные элементы исчезали, а оставалась либо жалкая дрянь, либо особенно ловкие люди, умевшие балансировать между двумя крайностями.

В моих бумагах хранится несколько писем, в то время и позже мною полученных от гр. Н. Н. Игнатьева, человека, прослужившего всю свою жизнь на военной службе, командовавшего во время войны Преображенским полком,—настоящего офицера и притом очень неглупого, вдумчивого и серьезного человека. Если не ошибаюсь, революция застала его либо начальником штаба гвардейского корпуса, либо начальником гвардейской пехотной дивизии. Эти его письма произвели на меня большое впечатление. Они подтвердили мои худшие догадки. Сейчас их у меня нет под рукой, и я не могу проверить даты, но мне помнится, что очень скоро в этих письмах зазвучала такая нота: надо отдать себе ясный отчет в том, что война кончена, что мы больше воевать не можем и не будем, потому что армия *стихийно не хочет* воевать. Умные люди должны придумать способ ликвидировать войну безболезненно, иначе произойдет катастрофа... Я показал одно из писем Гучкову. Он его прочел и вернул мне, сказав при этом, что он получает такие письма массами. «Что же вы думаете по этому поводу?» спросил я. Он только пожал плечами и ответил что-то в роде того, что приходится надеяться на чудо. Но чудо не произошло, процесс пошел естественным и необходимым путем и привел к естественному и необходимому концу.

———

